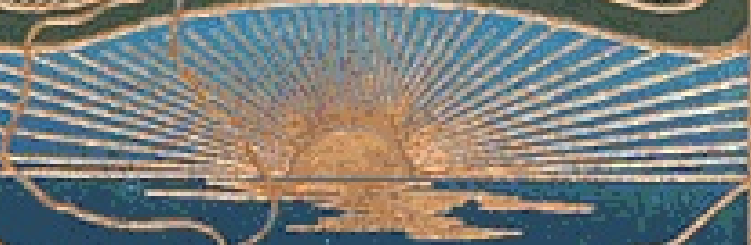


ЛЕВШАРИУСЪ  
ОТРОЧЕСКІЕ ГОДЫ  
ЛЮШКІНА



СПБ. 1901  
Издательство

## Annotation

В однотомник знаменитого беллетриста конца XIX — начала XX в. Василия Петровича Авенариуса (1839 — 1923) вошла знаменитая биографическая повесть "Отроческие годы Пушкина", в которой живо и подробно описывается молодость великого русского поэта.

---

- 
- [Глава I](#)
- [Глава II](#)
- [Глава III](#)
- [Глава IV](#)
- [Глава V](#)
- [Глава VI](#)
- [Глава VII](#)
- [Глава VIII](#)
- [Глава IX](#)
- [Глава X](#)
- [Глава XI](#)
- [Глава XII](#)
- [Глава XIII](#)
- [Глава XIV](#)
- [Глава XV](#)
- [Глава XVI](#)
- [Глава XVII](#)
- [Глава XVIII](#)
- [Глава XIX](#)
- [Глава XX](#)
- [Глава XXI](#)
- [ПРИМЕЧАНИЯ](#)
- [notes](#)
  - [Note1](#)
  - [Note2](#)
  - [Note3](#)
  - [Note4](#)
  - [Note5](#)
  - [Note6](#)

- [Note7](#)
  - [Note8](#)
  - [Note9](#)
  - [Note10](#)
  - [Note11](#)
  - [Note12](#)
  - [Note13](#)
  - [Note14](#)
  - [Note15](#)
  - [Note16](#)
  - [Note17](#)
  - [Note18](#)
  - [Note19](#)
  - [Note20](#)
- 

*В те дни, когда в садах лица  
Я безмятежно расцветал,  
Читал охотно Апулея,  
А Цицерона не читал,  
В те дни, в таинственных долинах  
Весной, при кликах лебединых,  
Близ вод, сиявших в тишине,  
Являться Муза стала мне.*

*"Евгений Онегин"*



Александръ Сергѣевичъ  
ПУШКИНЪ.

## Глава I

### Поэт-дядя и поэт-племянник

*Мой дядюшка-поэт  
На то мне дал совет  
И с музами сосватал*

*"К Дельвигу"*

*Ты, бесенок, еще молоденок.  
Со мною тягаться слабенок!*

*"Сказка о купце Остолоне"*

В необычную пору дня, в 9-м часу утра 12 августа 1811 года по Невскому проспекту, усаженному еще в то время четырьмя рядами тощих лип, катился щегольский фаэтон. Маленький грум в парадной ливрее сидел сзади, на возвышенных запятках, со скрещенными на груди руками, потому что экипажем правил сам владелец его, молодой еще человек, лет 26-ти. Полное и красивое лицо его дышало душевным благородством и неподдельною добротой. В быстрых глазах его светился живой, пытливый ум.

То был общий любимец высшего круга Петербурга и Москвы, Александр Иванович Тургенев.<sup>[1]</sup>

Лично хорошо известный всему царскому дому, он, благодаря своему блестящему образованию, своим редким способностям и душевным качествам, шел быстро в гору и уже год тому назад занял высокий пост директора департамента духовных исповеданий. Но этот баловень судьбы, казалось, заботился не столько о собственной своей карьере, которая устраивалась как бы сама собою, сколько о судьбе близких ему людей, которые без его поддержки не пробили бы себе, быть может, дороги к жизни.

Так и сегодня, несмотря на свою природную тучность и склонность к пуховикам, он нарочно поднялся так рано из-за 12-летнего мальчугана, судьбу которого взял в свои руки. В Царском Селе должно было открыться на днях привилегированное учебное заведение совершенно нового образца, именно — лицей, куда московский приятель Тургенева, Сергей Львович

Пушкин во что бы то ни стало желал определить своего старшего подростка-сына Александра. По особенной только протекции Тургенева мальчик был занесен в список кандидатов в лицей; сам же Тургенев привез его из Москвы, а теперь ехал напомнить, что сегодня предстоит приемный экзамен, потому что как было положиться на маленького ветреника? Как было положиться и на дядю его, Василия Львовича Пушкина, приехавшего также вместе с ним из Москвы? Тот, как стихотворец, витал, обыкновенно, в заоблачном мире, а теперь, к тому же, весь был поглощен одним литературным спором. Дело в том, что в одном послании к другу своему, Жуковскому, он имел неосторожность похвалиться знанием древней литературы:

Вергилий и Омир, Софокл и Эврипид,  
Гораций, Ювенал, Саллюстий, Фукидид  
Знакомы стали нам...

На это прежний друг, а теперь заклятый журнальный враг его, президент академии наук Шишков, позволил себе в полном собрании академии заявить, что есть-де "стихотворцы, которые взывают к Вергилиям, Гомерам, Софоклам, Еврипидам, Горациям, Ювеналам, Саллюстиям, Фукидидам, затвердя только имена их и — что всего удивительнее — научась благонавию и знаниям в парижских переулках".

Василий Львович Пушкин, особенно гордившийся своим французским воспитанием и личным знакомством с французскими писателями, был до глубины души возмущен этим брошенным в него незаслуженным комом грязи. Надо было дочиста смыть позорное пятно! И вот, сопровождая племянника в Петербург, он в продолжение всего пути придумывал новое «послание» к третьему другу — Дашкову, а прибыв на место, усердно занялся печатанием в лучшей тогда петербургской типографии Шнора отдельной брошюры обоих посланий: к Жуковскому и Дашкову.

Тургенев был почти уверен, что застанет поэта за его брошюрой, — и не ошибся.

Василий Львович, коренной москвич, занимал в Петербурге временную квартиру в небольшом каменном доме на Мойке. Свернув туда у Полицейского моста, Тургенев остановился у подъезда своего приятеля, бросил поводья груму, с легкостью юноши, несмотря на свою полноту, спрыгнул на панель и с тою же легкостью взбежал по лестнице во второй этаж. Когда он вошел в первую из трех комнат Василия Львовича,

служившую и приемной, и столовой, и уборной, то увидел именно ту картину, которую ожидал.

Сам Василий Львович, невысокого роста, полный и рыхлый мужчина средних лет, сидел перед простеночным зеркалом с пудермантелем на плечах. Безотлучный старик-камердинер его, Игнатий, юлил около него с дымящимися щипцами. Вся голова барина была уже в искусных завитках; оставалось только прижечь над высоким челом верхнюю буклю. Но едва Игнатий успел захватить щипцами последнюю прядь волос на барской макушке, как Василий Львович наклонился опять над подзеркальным столиком, чтобы исправить красным карандашом типографскую опечатку на корректурном листе, который он держал в руках.

— Да я вас, сударь, ей-Богу же прижгу!.. — проворчал Игнатий, успев еще вовремя отдернуть руку при внезапном движении барина.

— Только смей! — отозвался поэт и, окончив поправку, распустил опять перед собой корректурный лист.

— Все еще за корректурой? — спросил, по обычаю того времени, по-французски Тургенев, подходя к приятелю с насмешливо-добродушной улыбкой.

— Все за корректурой! — был французский же ответ.

Но при этом Василий Львович так неожиданно вспрянул с места, что камердинер, несмотря на привычку к парикмахерскому делу, дернул-таки его щипцами за прижигаемый клочок. Барин испустил болезненный вопль.

— Сами виноваты-с, — оправдывался Игнатий. — Благо бы делом занимались, а то нет, все, вишь, проклятые эти стихи...

— Уж ты-то, братец, сделай милость, не рассуждай! Ну что ты в стихах смыслишь? — говорил барин-стихотворец, важно расхаживая взад и вперед в пудермантеле, как в римской тоге, с корректурным листом в руках. — О, я ему этого так не спущу! Запляшет он у меня!

— Да за что же-с, сударь? На старости-то лет?

— Не об тебе речь! — отмахнулся листом Василий Львович.

— А об ком же-с?

— Об том, кому я готовлю сию позлащенную пилюлю!

— Хоть убейте, в толк не возьму, — твердил Игнатий, бегая с щипцами по комнате следом за баринком. — Маленечко бы вам, сударь, только еще присесть... по вискам бы пройтись...

— И так бесподобен! — решил Тургенев, без дальних околичностей срывая с плеч приятеля белую тогу. — Подай-ка теперь живет барину одеваться. А что, племянник твой готов? — спросил он Василия Львовича.

— Несомненно, — отвечал тот с достоинством, продевая руки в

поданный ему камердинером фрак.

Коротенький, по тогдашней моде, с коротенькими же фалдами, небесно-голубого цвета фрак плотно облегал его небольшое пузатое тельце. Туго накрахмаленное острое жабо крепко упиралось в свежевыбритые, лоснящиеся щеки. Богатая вышивка сорочки так и выпячивалась из-под молочно-желтой пикейной жилетки, по которой вилась и блестела змейкой вывезенная самим Василием Львовичем из Парижа тоненькая золотая цепочка; с цепочки же свешивался целый арсенал дорогих бирюлек, бряцавших при всяком движении по колыхающемуся брюшку.

— Хоть сейчас на бал! — сказал Тургенев и, взяв приятеля под руку, вошел вместе с ним в спальню его племянника — Пушкина, в то время еще не знаменитого Александра Сергеевича, а просто — шалуна Александра.

Вошли они — да так и остолбенели в дверях. Александр и не думал еще вставать с постели. Но он не спал. Выпростав руки из-под одеяла, он гусиным пером усердно царапал что-то на четвертушке бумаги, которая лежала около его изголовья, на краю постели.

— Хорош мальчик, нечего сказать! — произнес после некоторого молчания Василий Львович, стараясь придать своему голосу возможную строгость. (Весь следующий разговор, как и предыдущий, происходил попеременно то по-русски, то по-французски.)

Услыхав слова дяди, молодой Пушкин очнулся и быстро сунул бумажку и перо под подушку.

— Напрасно трудишься, милый мой: улика налицо, — продолжал Василий Львович, указывая на чернильницу, стоявшую на стуле около изголовья.

— А главное — непрактично, — добавил Тургенев, — чернила с подушки едва ли смоются.

— Смоются! — засмеялся в ответ мальчик. — Но знаете что, Александр Иванович: если стих раз засел гвоздем в голове...

— То надо его и увековечить, хотя бы Дамоклов меч висел над головой! — тем же шутливым тоном досказал Тургенев. — Брал бы пример с дяди: тот нынче хоть бы пальцем к своей корректуре прикоснулся.

Василий Львович неодобрительно покосился на приятеля, а Александр, поняв шутку, звонко расхохотался. При этом довольно некрасивое смуглое лицо его африканского типа, обрамленное курчавыми белокурыми волосами,<sup>[2]</sup> разом преобразилось: слегка вздернутые губы открыли ряд белых крепких зубов и сложились в плутоватую, премилую усмешку, а быстрые, умные глаза под темною дугой бровей так и заискрились. Невзрачный, на первый взгляд, мальчик обратился чуть не в



красавца.

В ответ на неделикатный смех племянника Василий Львович только пожал плечами и, достав из кармана серебряную с финифтью табакерку, взял кончиками пальцев щепотку табаку.

— Да ведь я, дядя, по вашим же стопам... — начал Александр.

— То есть, куда конь с копытом, туда и рак с клешней? — с достоинством отозвался дядя и, не спеша, угостил табаком свой крупный, загнутый на одну сторону нос. — Тягаться с дядей не тебе, молокососу. Заслуги мои на российском Парнасе изрядно известны. Поэма моя в несчетных списках ходит из конца в конец по всей матушке-России. Послания мои, басни, экспромты всеми и каждым заучиваются наизусть. А почему? — Потому, что до такой тонкой сатиры, как моя, не дошел ни Крылов, ни даже достоуважаемый наш друг-поэт и министр Иван Игнатович.<sup>[3]</sup>

Вы вспомните о том, что первый, может быть,  
Осмелился глупцам я правду говорить,  
Осмелился сказать хорошими стихами,  
Что автор без идей, трудясь над словами,  
Останется всегда невеждой и глупцом;  
Я злого Гашпара убил одним стихом!<sup>[4][5]</sup>

Убил наповал, как вы, друзья мои, сейчас и убедитесь. Эй, Игнатий!  
Из дверей столовой высунулась седовласая голова Игнатия.

— Самовар, сударь, подан.

— Дело теперь не в самоваре! Подай-ка сюда корректуру.

— Я отдал ее сейчас рассыльному.

— Врешь ведь?

— Зачем мне врать? Пожалуйте, сударь, чай заварить. Всегда за разговором забудете...

И голова Игнатия уже скрылась за дверью.

— Врет! Ей-Богу, врет, — вполголоса заметил Василий Львович. — Ну да Господь с ним! Итак, припомним. Внимания, государи мои!

Он картинно отставил ногу, выпятил грудь, простер вперед правую руку и готов был уже продолжать декламировать; но Тургенев взглянул на часы и остановил его за руку.

— Уже половина девятого, душа моя. А в десять ведь экзамен.

— Первая переключка. Ты выслушай только пару строф. Шишков, как

знаешь, укорял меня в том, что Париж я знаю будто бы только по закоулкам. Ха! А я ему вот что на это:

Не улицы одне, не площади, не дома, —  
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там знакомы:  
Они свидетели, что я в земле чужой  
Гордился русским быть и русский был прямой...

- И так далее, — прервал Тургенев. — Я это уж слышал.  
— Нет, уж извини. До сих пор никто еще не удостоился...  
— Ну так что-нибудь в том же роде.  
— Да это легкое подражание, — неосторожно ввернул маленький Александр.  
— Подражание?! — вскинулся на него дядя. — Кому?  
— Да я только так, дяденька... Может быть, это случайное совпадение: великие умы сходятся...  
— Нет, голубчик, не отвливай! Говори: кому я подражал? Ну!  
— Если вы, дядя, уж непременно требуете... Помните, у Фонвизина, в его "Послании к Шумилову, Ваньке и Петрушке", сказано:

Москва и Петербург довольно мне знакомы;  
Я знаю в них почти все улицы и дома...

Далее продолжать ему уж не пришлось. Задетый за живое, маститый стихотворец поймал племянника за ухо и приподнял его так с кровати. Но тот, как был — неодетый, необутый, — тут же бросился к дяде, обвил его руками и вихрем закружился с ним по комнате, напевая модный в то время вальс.

— Оставь!.. Сумасшедший!.. — пыхтел Василий Львович, тщательно выбиваясь из цепких объятий шалуна.

— А сердиться не будете? — спрашивал на лету племянник.

— Не буду... отпусти только душу на покаянье!

Александр разнял руки, и толстяк мешком повалился в ближнее кресло.

— Уф! Совсем измучил, злодей... И табак-то просыпал... и сорочку измял...

— Новую наденете.

— Ну да, как же! А вот тебе так в самом деле пора одеваться.

— Да, Александр, поторопись, — подтвердил Тургенев, — а то как раз опоздаешь.

Александр беспрекословно принялся за свой туалет.

— А поэта из тебя все-таки никогда не выйдет! — последним залпом выпалил в него дядя.

— Только еще не признан, как вы, — отшутился мальчик — У вас, говорите вы, есть своя поэма? И у меня есть своя: "La Toliade".

— За которую тебе учитель Русло уши надрал?

— Из зависти, дядя, чисто из зависти, потому что стихи мои были лучше его стихов. Но чего у вас нет, а у меня есть, — это знаменитая комедия "L'Escamoteur", которую я сам же и представлял.

— И которую единственная твоя публика — сестрица твоя Оля — нещадно освистала?

— Нет, Василий Львович, — вмешался тут Тургенев, — ты, право, слишком требователен. От 12-летнего мальчика разве можно ожидать бессмертных произведений? Но стихи Александра хоть куда.

— Да какие стихи? — французские; а кто же теперь не пишет гладких французских стихов?

— Нет, в нем горит, кажется, и настоящий поэтический огонек. Я так теперь вижу такую картину: сам ты, Василий Львович, взмогнул на стул среди зала и вдохновенно декламируешь что-то. Со всех сторон плотно обступили тебя взрослые слушатели; а к самому стулу твоему прижался вот этот мальчуган и, бледный, взволнованный, не смеядохнуть, глаз с тебя не сводит, ловит каждое твое слово...

От такой поддержки со стороны неизменного его защитника, Тургенева, щеки мальчика вспыхнули, глаза заблестали.

— Да, есть люди, которые и теперь признают в моих сочинениях некоторый талант! — не без гордости заявил он.

— Вот как! — усмехнулся дядя. — Кто ж эти ценители? Такие же малолетки?

— Нет, взрослые... барышни...

— А! Барышни. Да, действительно, это первые судьи. Кто же именно?

— Да все наши московские знакомые... Помните, перед самым отъездом из Москвы мы с вами провели последний вечер у Воронцовых? Ну так вот, все барышни, что были там, окружили меня и стали наперерыв просить написать каждой из них в альбом хоть какой-нибудь стишок.

— И ты написал?

— Написал.

— Каждой?

— Каждой.

— Поздравляю — только не их. Впрочем, до сих пор ты пишешь одни французские вирши; поэтому каковы бы они ни были, русского стихотворца из тебя никогда не выйдет.

— А вот увидим! Хотите, дядя, об заклад побиться?

— Поди ты со своим закладом! Однако, ты никак и оделся, и умылся? Идем же теперь чай пить. И ты, Александр Иваныч, конечно, не откажешься от стаканчика?

Тургенев взялся за шляпу.

— Спасибо, брат, — сказал он, — я дома уж напился. Смотрите, господа, не замешкайтесь. Ужо заеду узнать о результате.

И добрый гений своих друзей и знакомых исчез, чтобы лететь далее — благодетельствовать другим.

## Глава II

# В ОЖИДАНИИ ЭКЗАМЕНА

*Заутра казнь. Но без боязни  
Он мыслит об ужасной казни;  
О жизни не жалеет он.*

### *"Полтава"*

Приемный экзамен должен был происходить на квартире министра народного просвещения, графа Алексея Кирилловича Разумовского. Пробыло уже девять, когда Пушкины, дядя и племянник, снимали свое верхнее платье в швейцарской министра.

— Ну что, мой друг, каково тебе? — спросил Василий Львович, полузаботливо, полушутливо заглядывая в лицо племянника. — Забила, чай, боевая лихорадка?

— Ничуть, — отвечал тот, отворачиваясь.

— А что же ты так ежишься? Дай-ка сюда руку — пульс пощупать.

— Ах, перестаньте, дядя! Пойдемте...

— Ага! Знает кошка, чье мясо съела.

Они стали подниматься по широкой, устланной красным ковром лестнице с колоннами. На первой же площадке попала им небольшая группа: присевший отдохнуть на высокий ясеневый стул белый, как лунь, старичок-адмирал, а подле него два мальчика в какой-то полукадетской форме — в черных куртках со стоячими воротниками и с металлическими пуговицами. Взоры обоих кадетиков были устремлены на приближавшегося к ним Александра, и он, с непривычной ему застенчивостью, отвел в сторону глаза и прошмыгнул мимо. Но на повороте лестницы до него явственно донеслось снизу: "Тоже, видно, экзаменоваться идет", — и он оглянулся; глаза его встретились с глазами одного из мальчиков. Оба они смущенно улыбнулись, и Пушкин ускоренным шагом, почти бегом, стал опять подниматься по лестнице и скрылся за поворотом.

Но от этой улыбки будущего товарища сердце в груди его, как пташка, встрепенулось. Ему стало вдруг так весело и легко, точно он предчувствовал, что вот кто будет ему на много лет лучшим другом.

В большой и светлой приемной министра записавшиеся к экзамену мальчики были уже почти в полном сборе. Каждого из них, разумеется, сопровождал какой-нибудь родственник или воспитатель. Василий Львович, обведя присутствующих испытующим оком, направился прямо к молодому сановитому генералу в аксельбантах, которого он хотя и видел впервые, но в котором сразу узнал своего брата — человека высшего круга. Подсев к генералу, он не замедлил завязать с ним оживленную беседу на французском языке и, казалось, забыл уже о существовании племянника.

Около них не было ни одного свободного места, и Александр, переминаясь, огляделся, где бы ему пристроиться.

— Да садитесь к нам! — зазвенел тут вблизи него детский голосок

На диване сидели дама, мальчик-подросток и крошка-девочка, лет четырех-пяти, пухленькая, беленькая, вся в белокурых локонах, при всяком движении колыхавшихся вокруг ее прелестной головки. Она доверчиво подняла на Александра свои большие небесно-голубые глазки и приветливо манила его ручкой:

— Вот сюда... около брата. Тося, дай же место!

Брат отодвинулся, и Пушкин с поклоном уселся рядом с ним. Надо было в благодарность хоть сказать что-нибудь; но с чего начать? Он искоса оглядел своего соседа. Бледнолицый, серьезный, в синих очках, тот производил впечатление чуть ли не юноши.

— Вы издалека? — наконец решил начать Александр.

— Из Москвы, — был ответ.

— И я оттуда же.

— И вы из Москвы? — подхватила, обрадовавшись, малютка-девочка. — Как же мы с вами не встретились по дороге?

— Потому что, вероятно, ехали в разное время. Я уж с июня месяца здесь; а вы?

— А мы только со вчерашнего дня. Мы приехали вместе с мамашей и вот с мадемуазель, нашей гувернанткой; но мамаша очень устала с дороги и осталась на даче в Петергофе...

— Замолчите ли вы, Мими! — по-французски шепнула тут болтушке мадемуазель.

Разговор на минуту прервался. Но неугомонный язычок Мими не давал ей покоя, и она снова затараторила:

— А сколько вам лет?

— Двенадцать, — отвечал Пушкин, с трудом подавляя улыбку.

— О! Так брат мой гораздо старше: ему на прошлой неделе пошел уже четырнадцатый год.<sup>[6]</sup> А как ваше имя?

— Пушкин Александр Сергеевич.

— Как важно! А брата мы зовем просто Тосей.

Теперь француженка-гувернантка сочла нужным пояснить Пушкину, что его сосед — барон Антон Антонович Дельвиг.

— Так вы, стало быть, немец? — обратился Пушкин к молодому барону.

— Ой нет! — отвечал тот. — Фамилия у меня только немецкая, потому что предки наши из лифляндцев, но сам я и телом и душой русский, православной веры и по-немецки не умею почти, что называется, в зуб толкнуть.

— Так же, как и я! — точно обрадовался Пушкин. — Вместе, значит, отличимся: в компании провалиться все же не так обидно.

— Не провалитесь, если знаете по-французски; ведь можно экзаменоваться из одного какого-нибудь иностранного языка: или немецкого, или французского.

— О! Тогда мне не страшно!

— Завидую вам! — вздохнул Дельвиг. — Я ни в одном предмете не тверд.

Француженка, понимавшая, как видно, по-русски, с укором взглянула на чересчур откровенного барона и постаралась смягчить его приговор о себе.

— Здоровье молодого барона, — заметила она, — довольно слабо, поэтому не в меру утруждать его учением нельзя было.

— Да прибавьте еще к этому природную лень, — добавил по-русски Дельвиг.

— Ну, что до лени, — подхватил весело Пушкин, — то я вам в ней, наверное, не уступлю! Если бы не сестра моя...

— А у вас также есть сестра? — заинтересовалась крошка баронесса.

— Да, годом меня старше.

— У, какая старая! А зовут ее?..

— Олей.

— Отчего же не Ольгой Сергеевной, если вы — Александр Сергеевич?

— Перестаньте, Мими! — остановила ее опять мадемуазель и обратилась к Пушкину: — А кто вас учил в Москве французскому языку?

— Я даже всех и не припомню, — отвечал по-французски же Пушкин, — граф Монфор, мосье Русло, мосье Шедель... и не перечтешь! А есть, знаете, у нас такая русская пословица: "У семи нянек дитя без глазу".

— Пословица, я вижу, довольно меткая, — проговорила не без

колкости француженка.

— А все же ученье вам, видно, впрок пошло, — заметил с своей стороны молодой барон, — вы говорите прекрасно по-французски. Но неужто эти иностранцы учили вас и русскому языку?

— Да, учил такой же иностранец, немец, херр Шиллер; к сожалению, однако, то был не знаменитый поэт Шиллер, а только его однофамилец. Но кроме него у меня русским учителем был еще один священник, человек очень начитанный и ученый.<sup>[7]</sup> Настоящей же, чистой русской речи я прежде всего научился от няни своей да от бабушки. Няня эта, Арина Родионовна, просто, я вам скажу, клад! Вынянчила всех нас: и сестру, и меня, и брата, да такая мастерица говорить сказки, былины народные, что слушаешь — не наслушаешься. Пословицы, поговорки у нее сыплются как из рукава. А покойная бабушка моя,<sup>[8]</sup> женщина также вполне русская и хорошо образованная, знала пропасть разных преданий, исторических и семейных, и я, бывало, по целым часам просиживал в ее рабочей комнате: все слушал, развесив уши, ее бесконечные рассказы. Если после всего этого из меня не выйдет поэта, то тут уже, право, ни няня, ни бабушка не виноваты.<sup>[9]</sup>

В это время общее внимание присутствующих обратил на себя тот старик-адмирал, которого с двумя его птенцами Пушкины застали давеча на лестнице. Дежурный чиновник уступил почтенному старцу свой собственный стул, а сам, стоя, записывал в журнал получаемые пакеты.

— Так что же, милостивый государь, — произнес громким голосом адмирал, — когда же граф Алексей Кириллович соблаговолит принять меня?

— Сию минуту-с, ваше высокопревосходительство, — засуетился чиновник. — Его сиятельство доканчивают туалет свой...

— А вы, сударь, передайте его сиятельству, — перебил адмирал, нетерпеливо постукивая по полу костью, — передайте, что андреевскому-де кавалеру адмиралу Пущину не пристало дожидать; что мне нужен он сам, Алексей Кириллович, а не туалет его.

Чиновник с поклоном исчез в министерских дверях. Василий Львович сидел неподалеку от адмирала и, с обычной своею подвижностью, ловко покачивая свое полное тельце на тонких ножках, почтительно приблизился к старику.

— Смею беспокоить ваше высокопревосходительство вопросом, — заговорил он, указывая глазами на двух мальчиков в куртках, которые прислонились тут же к окошку, — внучата-с?



Адмирал Пуцин окинул вопрошавшего в головы до ног орлиным взглядом и, удовлетворенный, по-видимому, осмотром, не торопясь ответил:

— Внучата.

— Позвольте представиться вашему высокопревосходительству: Пушкин Василий Львович, небезызвестный российский стихотворец.

— Слышал, как же. Тоже, чай, кого-нибудь в лицей определяете?

— Да вот, племянничка, сына родного брата моего, Сергея Львовича Пушкина. Может статься, бывали тоже в Москве, слышали про братца?

— Бывать-то бывал, лет с десяток назад, да что-то не помню...

— О! Буде теперь собрались бы, несомненно услышали бы про него. Братец мой, надо вам доложить, в московском высшем кругу играет, так сказать, первую скрипку. Ни один домашний спектакль, ни одна вечеринка с живыми картинами и иным прочим не обойдется без него. А как он читает Мольера! Даже мне, записному литератору и чтецу, за ним не угоняться. Какие строчит на всяких языках альбомные стишки! Хоть сейчас в печать. А уж по части каламбуров и экспромтов — голову прозакладываю — во всей Европе равного ему не найти: вся Москва повторяет их потом из конца в конец.

— Так у него, стало быть, нет определенных служебных занятий?

— Времени не достало бы, ваше высокопревосходительство, для светского представительства. В юных годах, правда, оба мы с ним тянули лямку в екатерининской гвардии, получили в ней, как говорится, последнюю шлифовку...

— И не дотянули?

— Да-с. Не снесли — если смею так выразиться — ярма военной дисциплины. Да и чего нам еще? Любимы, уважаемы, как сыр в масле катаемся... Я-то, правда, живу почти что бобылем: имею дома только сына-малютку; но у братца моего этой благодати целая троица, а жена у него первая умница, первая красавица московская!.. Правду сказать, африканского темперамента, — откровенничал словоохотливый Василий Львович, понижая тут голос и поглядывая в сторону племянника, — пальца в рот ей не клади: своенравна, вспыльчива, так что — у! как раз откусит! Да уж и властолюбива же, что греха таить! Забрала в ручки белые весь дом, как есть, вертит всем и каждым, как пешками: и муженьком, и людьми, и ребятишками, за исключением разве этого вон сорванца.

— Так он у вас большой шалун? Неисправим?

— Как вам сказать? В голове у него, точно, ветер гуляет; но каши этой мозговой там более, может статься, чем у иного взрослого полоумка. А уж

начитан как! Чего-чего не перечитал! И «Илиаду», и «Одиссею», и Плутарха от доски до доски, и новейших энциклопедистов...

— Гм... На каком же это все языке?

— А все, конечно, на французском. Раненько, может быть, да что против жажды знания поделаешь? У отца его, извольте видеть, так же как и у покорнейшего вашего слуги, библиотека на славу. — Александр, поди-ка сюда! — крикнул Василий Львович по-французски. — Не разрешите ли, ваше высокопревосходительство, познакомить с ним молодцов ваших?

— Что ж, пускай знакомятся: после все равно придется же. Экие дички, право! Руку-то друг другу хоть подайте!

Мальчики исполнили приказание и застенчиво обменялись несколькими общими фразами. Одно узнал при этом молодой Пушкин, что новые знакомцы его были между собой двоюродные братья и что одного из них — того, с которым он на лестнице переглянулся, — звали Иваном, а другого Петром.

Сидевший поблизости шустрый, востроглазый мальчуган с большим вниманием следил за завязывавшимся между тремя сверстниками его знакомством; шепнув сидевшей рядом с ним даме: "Я, мама, тоже отрекомендуюсь", — он развязно подошел к ним и шаркнул ножкой.

— Позвольте и мне отрекомендоваться: Константин Гурьев.

Пушкин медлил принять протянутую ему руку и с безотчетным недоверием оглядел навязчивого мальчугана. Но тот на вид был очень приличен: платье с иголки, сам причесан, приглажен, даже надушен; как в голосе его, так и в чертах лица, во всех движениях была одна и та же игривая мягкость. Только чересчур юркие глазки то и дело потуплялись и бегали по сторонам, точно не смели открыто встретить испытующего чужого взгляда.

"Кошечка", — невольно подумалось Пушкину.

Разговориться им, впрочем, теперь не пришлось: возвратившийся от министра чиновник пригласил старика Пущина к его сиятельству Алексею Кирилловичу, и тот в сопровождении двух внуков удалился.

Василий Львович воспользовался этим, чтобы подвести племянника к своему прежнему собеседнику, молодому генералу, оказавшемуся князем Горчаковым, и к его подростку-сыну, который был не только писанный красавец, но имел такое благородное, славное лицо, что нельзя было не залюбоваться.

"Вот ангельская душа, сейчас видно, — сказал сам себе Пушкин, — не то, что этот Гурьев".

А Гурьев был уже тут как тут, с тою же, словно заученной фразой:

— Позвольте и мне отрекомендоваться: Константин Гурьев.

На этот раз ему более посчастливилось: маленький Горчаков отвечал ему доверчиво и охотно, а Гурьев за словом в карман не лез. Пушкин увидел себя совсем оттертым и был даже рад, когда дежурный чиновник стал теперь выкликать их по списку. Разговоры кругом поневоле прекратились; каждый выкликаемый по очереди выступал вперед и отзывался: "Здесь!"

— Кюхельбекер, Вильгельм!

— Здесь! — пробасил с резким немецким акцентом долговязый юноша, нескладно, но крепко сшитый.

Пушкин не мог не усмехнуться. Но тут он расслышал, как Гурьев, наклонясь к Горчакову, тихонько подтрунил: "По Сеньке и шапка — прямой Кюхельбекер!" — и Пушкину уже досадно стало на насмешника:

"Показала, небось, кошечка когти!"

— Пушкин, Александр!

— Здесь! — откликнулся он каким-то не своим, металлически-звонким голосом и, сам не зная зачем, выскочил на середину залы.

Со всех сторон на него обратились удивленные взгляды; он смешался и еще поспешней отступил назад. А Гурьев опять-таки наклонился к уху Горчакова и с лукавой улыбочкой нашептывал ему что-то.

"Верно, про меня! — догадался Пушкин. — Вот и царапнул!"

Он на ходу круто повернул налево-кругом и отретировался к Дельвигам.

Перекличка кончилась. Решительная, неизбежная минута приблизилась, сейчас должна была наступить. В ожидании ее, в последний миг все языки развязались, все громко заговорили, зашевелились. И вдруг, как по мановению волшебного жезла, все точно так же опять смолкло, замерло: одного из мальчиков дежурный чиновник вызвал в экзаменационный зал.

## Глава III

### Экзамен

*Мы все учились понемногу,  
Чему-нибудь и как-нибудь:  
Так воспитаньем, слава Богу,  
У нас немудрено блеснуть.*

*"Евгений Онегин"*

Над министерскою приемной нависла, казалось, грозовая туча: разговоры велись уже только втихомолку; взоры всех — и старых и малых — были неотступно прикованы к роковой двери, которая поочередно поглощала экзаменующихся мальчиков и выпускала их затем одного за другим, как из бани, вострапанными и ошпаренными.

Вот очередь дошла и до барона Дельвига; Пушкин вздохнул ему вслед. Напрасно крошка-баронесса пыталась возобновить с молодым земляком-москвичом свою детскую болтовню: он отвечал рассеянно и невпопад. По спине его забегали мурашки — первый приступ предсказанной Василием Львовичем "боевой лихорадки". Наконец министерская дверь опять распахнулась, и на пороге показался молодой барон...

Но, Боже праведный, что с ним такое? Идет повесив голову, еле ноги волочит...

— Тося! — жалобно вскрикнула сестричка, бросаясь через всю комнату к нему навстречу. — Неужели провалился?

— Потише, Мими... — уклонился он от ответа и вернулся об руку с нею к своему месту, стараясь не глядеть на Пушкина.

— Так что же, скажи: выдержал или нет? — не отставала от него малютка.

— Кажется, что нет... — проговорил он нехотя, беззвучно.

Мими прослезилась и протянула к брату ручонки, чтобы обнять его.

— Ну ничего, Тосенька, голубчик: мама ведь добрая, не рассердится.

Пушкина так заняла эта сцена, что он и не расслышал, как вошедший вслед за Дельвигом чиновник произнес фамилию его, Пушкина.

— Так что же, Пушкина, стало быть, нет? — повторил, озираясь кругом, чиновник.

— Александр! Тебя зовут, не слышишь разве? — крикнул по-французски Василий Львович, подсакивая к племяннику, и тронул его за плечо. — Первое условие, дружок: не падать духом.

— Дай вам Бог большего успеха, — пожелал Александру с своей стороны и Дельвиг, заглядывая ему теперь прямо и дружелюбно в лицо.

— Благодарю вас, — пробормотал тот в ответ и с напускною удалью, широко размахивая руками, последовал за чиновником в раскрытую курьером настежь дверь.

Как ни храбрился Пушкин, но, подходя к поставленному поперек зала большому, покрытому зеленым сукном столу, за которым восседали экзаменаторы, он точно не чувял уже ног под собой, и сквозь заволакивавший ему глаза туман не мог хорошенько различить ни одного лица. Инстинктивно только чувствовал он, что сделался вдруг центром, на который направлены десятки испытующих глаз, и что лучи их словно жгут, магнитизируют его; нервы его натянулись, как струны, до последней степени.

— Не родственник ли вам писатель Пушкин? — послышался тут чей-то ласковый старческий голос.

Не успел Александр ответить, как другой, будто знакомый уже, голос отозвался вместо него:

— Точно так, ваше сиятельство, родной дядя.

Александр сделал сверхъестественное усилие над собой, мигнул раз-другой, расширил зрачки — и разглядел говорящих: прямо против него, на расстоянии не более полутора аршина, сидел важный седовласый старик, грудь которого была усеяна звездами; очевидно, то был не кто иной, как сам министр, граф Алексей Кириллович Разумовский; по правую же руку от него сидел тот, голос которого показался Александру знакомым, и в котором он признал теперь нового директора лицея, Василия Федоровича Малиновского, раза два уже виденного им по приезде из Москвы. О, этот добряк его не выдаст! И в ушах Пушкина прозвучало опять напутствие дяди: "Первое условие — не падать духом!"

— Да, я его племянник, — ответил он в свою очередь довольно уже бойко.

— В таком случае вы, конечно, знаете и других русских литераторов? — продолжал министр.

— Еще бы! — оживленно подхватил мальчик. — Дмитриев, Карамзин, Жуковский, Батюшков — у нас в доме свои люди...

— Не о личных ваших знакомствах речь, — сухо оборвал его граф. — Вообще примите за правило, молодой человек: выслушивать старших до

конца, не прерывая. Итак, я спрашиваю вас: читали вы произведения наших лучших писателей?

Выслушанное внушение умерило первую прыть мальчугана. Он смутился и ответил сдержанно, хотя и не без тайного самодовольства:

— Кажется, все перечел.

— Все, без разбора?

— Да, все вообще, что есть интересного в библиотеке моего отца, а библиотека у него в тысячу с лишком томов!

— И вам не было запрету брать оттуда все, что заблагорассудится? Странные, однако, порядки у вас в доме... Но если вы все перечитали, — продолжал Разумовский, и насмешливая улыбка заиграла на его тонких губах, — то любопытно знать, кого вы почитаете первым русским поэтом? Вероятно, вашего дядю?

Пушкин вспыхнул, но, по-прежнему сдерживаясь, сказал просто:

— И у дяди моего есть прекрасные стихи. По времени первым поэтом русским надо считать Ломоносова...

— А про Кантемира, небось, и забыли или не слышали?

— Кантемир не поэт: у него рубленая проза.

— Вот как!

— Не я один это говорю: я от многих слышал. По качеству же стихов первым поэтом хотя и принято у нас считать Державина, но стих у него чересчур уж напыщен, у Жуковского, у Батюшкова он гораздо натуральнее и благозвучнее...

— Каков критик! — с снисходительным пренебрежением заметил министр. — С чужого, знать, голоса поет. Господин профессор! Не угодно ли вам теперь приступить к допросу?

Один из экзаменаторов покорно преклонил голову и обратился к Пушкину:

— Вы, прочитав малую толику, запомнили, несомненно, кое-что и наизусть?

— Очень многое.

— Например... ну, хоть бы карамзинскую "Марфу Посадницу"...

— Прочитать?

— Прочитайте, только с подобающей интонацией и экспрессией, не глотая слова и запятых.

— "Раздался звук вечевого колокола, — начал «подобающим», неспешным и торжественным голосом Пушкин, — и вздрогнули сердца в Новгороде. Отцы семейств вырываются из объятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отечество. Недоумение, любопытство, страх и

надежда влекут граждан шумными толпами на великую площадь..."

Профессор движением руки остановил маленького декламатора.

— Начало, конечно, кому не известно, — сказал он. — А помните ли вы художественное описание появления Марфы среди народа?

— "Еще продолжается молчание, — не задумываясь, задекламировал опять Пушкин. — Чиновники и граждане в изумлении. Вдруг колеблются толпы народные, и громко раздаются восклицания: "Марфа, Марфа!" Она входит на железные ступени тихо и величаво; взирает на бесчисленное собрание граждан и безмолвствует... Важность и скорбь видны на бледном лице ее..."

Пушкин, как следует, на минуту здесь замолк, чтобы дать слушателям взглядеться в воссозданную им перед их внутренним взором картину.

— Вот это музыка слов, истинная поэзия, хотя и в прозаической форме! — воскликнул граф Разумовский. — Память у вас довольно счастливая, надо сознаться, и читаете вы весьма и весьма сносно.

— Не позволите ли, ваше сиятельство, перейти к грамматике? — обратился к нему экзаменатор.

— Извольте.

— Пожалуйте-ка, молодой человек, к доске.

Пушкин подошел к саженной доске и вооружился мелом.

— Вы, как юнец, отдавали только что предпочтение перед маститым нашим поэтом-исполином Державиным юному поколению поэтов, не достойных подвязывать и ремни на сандалиях его. Я продиктую вам такие перлы его музыки, каких вы ни у кого из иных прочих со свечой не сыщете. Пишите:

Спустил седой Борей Эола  
С цепей чугунных из пещер...

— Я и так знаю, — подхватил мальчик, -

Ужасны крылья расширяя,  
Махнул по свету богатырь...

Стихи звучные, но все-таки, по моему мнению...

— Вашего мнения не спрашивают! Извольте писать!

Александр крупным детским почерком, косым и небрежным, живо

исписал всю доску сверху донизу четырьмя приведенными строками.

— В правописании вы слабы, — заметил профессор и указал пять-шесть орфографических ошибок, после чего задал еще несколько грамматических вопросов. Ответы точно так же были довольно сбивчивы и нетверды.

Между тем директор Малиновский, как видел издали Пушкин, наклонился с просительной миной к министру, и тот, кивнув головой, громко объявил:

— Начитанность ваша отчасти вас еще выручает. Посмотрим, каковы ваши познания в иностранных языках. Начнем с немецкого.

Пушкин оторопел.

— Нельзя ли мне отвечать из одного французского?..

— А немецкого вы, значит, совсем не знаете?

— Совсем! — брякнул он, чтобы только поскорее развязаться.

— Гм... И читать даже не умеете?

— Читать, конечно, умею.

— Так вот прочтите.

Мальчик из поданной ему немецкой книжки прочел довольно бегло несколько строк.

— Ну, этого на первый раз, пожалуй, и достаточно, — смилостивился министр и отнесся по-французски к сидевшему тут же за столом маленькому старичку в напудренном парике: — Мосье де Будри! Не соблаговолите ли теперь вы?..

Де Будри, несмотря на свои преклонные лета, чрезвычайно живой и подвижный, вертя в пальцах черепаховую табакерку, предложил Пушкину простой грамматический вопрос, но предложил по-русски, уморительно коверкая слова. Пушкин, с трудом подавляя улыбку, отвечал ему без запинки на самом чистом парижском наречии. Француз весь так и вострепнулся и не замедлил сам перейти на свой родной язык.

— А! Так вы, милый мой, читали, быть может, и наших великих классиков?

— Расина, Корнеля, Мольера? — переспросил Александр. — Читал, так же как и философов Руссо, Вольтера...

— Руссо и Вольтера! — вырвалось у графа Разумовского, и он многозначительно переглянулся с присутствующими. — Тоже, видно, брали без спроса из библиотеки отца?

— Да...

— Будем надеяться, что вы их хотя бы наполовину не поняли.

— Ну, Расин, Корнель и даже Мольер безвредны, — вступился мосье



де Будри.

— Я умею читать Мольера и на разные голоса, — вызвался ободрившийся опять Пушкин.

— О! О! На разные голоса! Не разрешите ли, ваше сиятельство, прочесть ему нам для образчика какую-нибудь мольеровскую сценку?

— Отчего же, пускай прочтет. Выбор пьесы, молодой человек, мы предоставляем вам.

Особенно глубоко запечатлелся в памяти Александра один любимый его отцом и дядей мольеровский диалог. Он слышал его столько раз, что помнил не только обе роли от слова до слова, но и самое выражение голоса обоих. Точно записной импровизатор, охваченный вдохновением, он забыл, казалось, даже где он и, без всякой уже робости, передал диалог почти безупречно.

— Бесподобно! Изумительно! Не правда ли, милостивые государь. — воскликнул по-французски де Будри, озираясь кругом с таким торжествующим видом, точно он сам так блистательно подготовил молодого импровизатора. — После такой аттестации, ваше сиятельство, я полагаю, было бы просто грешно испытывать его в грамматических мелочах. А незнание немецкого языка более чем извинительно.

Профессор немецкой словесности, человек еще молодой, но строгого и неприступного вида, начал было протестовать; но министр, не желая затягивать экзаменовку по другим предметам, принял сторону де Будри.

По географии и истории повторилось то же, что и по русскому языку: сбиваясь в некоторых, самых элементарных вопросах по физическому описанию земли, не зная твердо ни одного года исторических событий, Пушкин так осмысленно, с таким увлечением передавал разные любопытные подробности нравоописательные и политические, что сам граф Разумовский не скрыл своего одобрения.

— Что вы учили по обязанности, то усвоили плохо; что читали без спроса, то усвоили прекрасно, — сказал он и, обернувшись к директору Малиновскому, прибавил вполголоса: — Я рекомендовал бы вам, сударь мой, обратить на сего птенца особенное ваше внимание: он сколь необуздан, столь и даровит. В арифметике он, я уверен, всего слабее.

Граф не ошибся. Сухая цифирь, требующая сосредоточенного внимания, была для богатого фантазией, но бедного терпением начинающего поэта всегда непреодолимым камнем преткновения. Написав на доске мелом продиктованную ему задачу, он как только приступил к ее разрешению, так и перепутал. Тщетно профессор математики, по-видимому также расположенный в пользу мальчика предшествовавшими

удачными его ответами, пытался навести его на истинный путь: Пушкин, точно в дремучем, топком бору, забирался все глубже в непроходимую трясиину, пока совсем не завяз; тогда он безнадежно опустил голову и положил мел.

— Нет, не умею...

— Довольно! — решил министр.

— Дозвольте мне, ваше сиятельство, предложить ему еще только один-другой теоретический вопрос, — вступился профессор, — задачка, пожалуй, была для него не в меру замысловата-с...

— Довольно! — повторил граф и внушительно кивнул головой Пушкину на дверь.

До последней минуты неизвестность будущего поддерживала еще Александра, как утопающего над бездонной топью. Теперь все кончилось бесповоротно: неумолимая судьба придавила его тяжким гнетом и потянула в темную глубь. С невыносимой тяжестью этою на сердце, с отуманенною головой, сам не зная как, он выбрался в приемную и машинально поплелся к своему месту. Дельвигов уже не было; зато перед ним, как лист перед травой, вырос Гурьев и любезно осведомился:

— Можно поздравить?

— Да! И вам того же желаю! — буркнул в лицо ему Пушкин и круто повернулся к Василию Львовичу, также в это время подошедшему к нему: — Бога ради, уйдемте, дядя...

— Куда же ты? Скажи мне, по крайней мере...

— Потом все расскажу... Уйдемте только...

— А с будущими товарищами-то ты так и не простишься?

— Не будут они мне товарищами...

И, не дожидаясь дяди, Александр опрометью выбежал на лестницу. Василий Львович, пыхтя, едва нагнал его уже на второй площадке.

— Ты, стало быть, срезался, мой друг?

— Стало быть.

— Из чего же?

— Из арифметики.

— Только-то?

— Кажется, довольно!

— Ну так не все еще пропало, не кручинься. Уломаем Малиновского, чтобы дал тебе переэкзаменовку; а не даст — подобьем Тургенева: уж этот, как добрый волшебник в сказке, так ли, сяк ли выручит.

## Глава IV

### Молодое вино бродит

*Как ты шалишь, и как ты мил,  
Какой избыток чувств и сил,  
Какое буйство молодое!*

*"К Языкову" ("Языков, кто тебе внушил...")*

Точно ли Тургенев, этот "добрый волшебник", по выражению Василия Львовича, посодействовал опять благоприятному исходу дела — осталось неизвестным; о своем содействии он никому никогда не заикался. Как бы то ни было, только после нескольких дней томительного ожидания Василий Львович привез племяннику от директора Малиновского радостную весть, что он, Александр, попал-таки в число 30 счастливцев, выбранных в лицей самым министром из 38 экзаменовавшихся.

— И без переэкзаменовки? — встрепенулся Александр, отрываясь от арифметики, над которой все эти дни он, по настоянию дяди, по целым часам корпел или, вернее, зевал.

— Без переэкзаменовки, — отвечал Василий Львович, — но Малиновский все же рассчитывает, что ты до переезда в Царское хорошенько повторишь зады...

— Так он ошибся в расчете! — воскликнул ветреник, и ненавистная ему учебная книжка со всего размаха полетела на другой конец комнаты, где, ударившись об стену, шлепнулась плашмя на пол. — Видите, где она лежит теперь? Там до Царского и пролежит.

— Ну, поднять-то все-таки не мешает, — благодушно сказал Василий Львович, поднимая книгу с полу и кладя ее на стол. — После, может, подумаешься. До начала классных занятий пройдет еще немало времени; государь отвел для вас целый флигель своего царскосельского дворца, а ведь его надо еще приспособить: раздвинуть стены, переставить печи, перестлать полы, все заново перекрасить, пообчистить...

— Экая досада, право! А я уж радовался, что сейчас познакомлюсь кой с кем из товарищей...

— Одно другому не мешает. Малиновский велел передать тебе, что он ожидает всю вашу братию завтра утром к себе на квартиру для примерки

казенной амуниции; там и сведешь знакомство, с кем пожелаешь.

И точно: на другой же день, а потом еще несколько раз лицеисты собирались для указанной цели на квартире директора. Затем, когда тот отбыл 1 сентября в Царское Село с чиновниками лицейского правления для наблюдения на месте за ремонтными работами, роль хозяина в доме принял старший сын его, Иван, также лицеист, но лет уже 15-ти, вследствие чего товарищи относились к нему с некоторым уважением.

А как было весело на этих сходках! Сколько было тут хохота и шуток, когда примериваемое казенное платье или сидело мешком, или же, напротив, не сходилось на груди, а стоячий красный воротник был так широк и высок, что можно было уйти в него с подбородком до самых ушей. Как было потешно надевать перед зеркалом треуголку по-наполеоновски, поперек головы, или в высоких лакированных ботфортах с петушиной важностью расхаживать взад и вперед по всему ряду комнат, — благо самого хозяина не было налицо!

Одна только капля дегтя отравляла им эту бочку меда: до формального открытия лица им было строго воспрещено щеголять во всей новой красе своей вне дома.

Все мальчики, которых Пушкин успел мельком узнать до экзамена в приемной министра, оказались принятыми; только из двух Пуцциных одному пришлось отказаться от лица, — не потому, чтобы он не выдержал испытания, а потому, что граф Разумовский хотел возможно большему числу «знатных» семейств открыть доступ в новое привилегированное заведение и предоставил адмиралу Пуццину одну только вакансию для обоих его внуков с тем, чтобы он сам выбрал из них в лицей любого. Выбор пал на Ивана Пуццина, т. е. на того самого, который более приглянулся Пушкину. И вот при первом же расставании на квартире директора Пушкин зазвал его к себе.

— Не зайдете ли вы когда-нибудь вечером? Пожалуйста!

— "Вы?" — переспросил Пуццин и взглянул Пушкину в глаза так открыто и доверчиво, что тот невольно покраснел.

— Ну, "ты", — поправился Пушкин. — Тут недалеко... (он сказал адрес). Зайдешь?

— С удовольствием.

— И мне можно? — раздался позади их вкрадчивый голос. Оказалось, что то был голос подслушивавшего их Гурьева.

Хотя последний по своей деланной любезности и навязчивости и не особенно был приятен Александру, но так как в то же время своею неизменною игривостью и веселостью он оживлял всякое общество, то

Пушкин не задумался изъявить свое согласие.

— Сделай одолжение. Чем больше нас будет, тем лучше.

— Так и Ломоносова привести можно? Он добрый малый!..

— Конечно, приведи.

Пушкин охотно пригласил бы еще и барона Дельвига, и князя Горчакова, но те проводили осень у родных на даче: один — в Петергофе, другой — где-то еще дальше.

Так еще до поступления в лицей Пушкин сошелся с тремя названными товарищами и с сыном директора Малиновского, который нередко также навещал его. Но более тесные, дружеские отношения у него установились только с Пуциным, с которым он видался почти ежедневно то на дому, то в Летнем саду.

Василий Львович не хотел вернуться в Москву до окончательного водворения племянника в стенах лицея; он не раз нанимал лодку и возил маленьких приятелей на острова. Первая из таких поездок, устроенная вскоре после экзамена в ознаменование его благополучного исхода, осталась особенно памятной всем участникам.

Вечер был тихий, ясный; настроение всех — самое праздничное. Лодочника не взяли, потому что и без него в ялике было куда тесно от пяти человек лицеистов и толстяка Василия Львовича. Да в помощи его и не нуждались: мальчики чуть не дрались из-за весел и гребли наперерыв.

Пока они плыли еще Мойкой и Крюковым каналом, юной удали их негде было развернуться. Но, выбравшись раз из подземного рукава Крюкова канала, из мрака, сырости и духоты, в Большую Неву, на солнце, простор и воздух, они вздохнули вольной грудью, и, когда тут Василий Львович затянул густым, звучным баритоном: "Вниз по матушке по Волге", все пятеро лицеистов разом подхватили своими звонкими отроческими альтами, — и понеслась стародавняя песня, правда, не совсем стройно, но очень одушевленно, над сверкающей зыбью реки.

— Вы бы, Гурьев, немножко полегче, — ласково заметил Василий Львович, — у вас слуха-то, кажется, совсем не полагается.

А живчик-племянник уж вскочил со скамейки и энергически замахал такт рукой над головами хора:

— Дружно! Дружно!

Ничего в волнах не видно.

Улыбаясь пылкости самозванного капельмейстера, но все-таки

повинуясь движениям его руки, хор, в самом деле, запел как будто согласней. Когда, наконец, в воздухе замерли последние звуки песни, Александр, под впечатлением охватившего его порыва, простер руки к солнцу и воскликнул:

— А славно жить на свете, господа! Так бы сейчас и обнял весь мир!

— И бухнул бы вместе с ним в воду, — досказал дядя, стараясь привести в равновесие ялик, который так и качался с боку на бок под ногами непоседы-племянника. — Умерь свой телячий восторг и садись-ка лучше.

— Сегодня, дяденька, мой день! Вы хоть и пригласили нас, но я плачу и за ялик, и за угощение!

— Из каких это благ?

— Ну, столько-то у меня найдется; а ежели бы не достало, то у вас достанет.

— Ага!

— Нет, дядя, я говорю не о ваших собственных деньгах, а о тех, что вы взяли у меня на хранение.

— Я — взял? Перекрестись! Когда это?

— Да неужто вы забыли? Бабушка Варвара Васильевна и тетушка Анна Львовна<sup>[10]</sup> подарили мне на орехи перед отъездом нашим из Москвы сто рублей, а вы дорогой отняли их у меня. Игнатий может засвидетельствовать это.

— А! Да... — замялся Василий Львович. — Ну, братец мой, возвращать их тебе целостью, я вижу, опасно, потому что ты сейчас готов растратировать.

— Но они мне могут понадобиться в Царском...

— Царское еще впереди, а теперь тебе их не видать, как своих ушей.

Возвратил ли когда-нибудь впоследствии племяннику донельзя забывчивый Василий Львович эти сто рублей — неизвестно; знаем мы только из письма Александра Сергеевича к князю Вяземскому, написанного четырнадцать лет спустя, что к тому времени деньги все еще не были возвращены.

Спустившись вниз по Неве на взморье, наша веселая компания обогнула Галерную гавань, завернула в Малую Невку и высадилась на Крестовском острове. Минут десять спустя она сидела уже в тенистом садике известного тогда ресторана, которого в наше время и в помине нет, так как процветавший некогда Крестовский теперь решительно забыт и брошен.

— Так, стало быть, мы можем сегодня пороскошничать на твой

счет? — насмешливо спросил Василий Львович племянника.

— Можете и даже прошу.

— Слышите, господа? Он просит вас не стесняться в депансах. Эй, человек! Мне, первым делом, две дюжины устриц и бутылку клико! Да льду, чур, не забыть.

Вскоре за столом завязалась самая задушевная, шумная полудетская, полууношеская беседа. Оживлению ее немало способствовало и замороженное шампанское, которое Василий Львович разлил по бокалам из потребованной им сперва одной, а потом и второй бутылки. По тонкой самодовольной улыбке, не сходявшей с его благодушного лица, легко было догадаться, что про себя он давно уже решил потешиться только над расточительным племянником и, в конце концов, все «депансы» по сегодняшнему угощению покрыть из собственному кармана.

Александр же в качестве хозяина был особенно развязан и весел. Щеки его горели, глаза искрились; он был, что называется, в ударе: шутил, острил и то и дело заливался самым искренним смехом, показывая сплошной ряд своих чудных белых зубов.

Пуштин невольно на него загляделся и заметил:

— А веселость тебе, Пушкин, очень к лицу.

— Юный Вакх! — пояснил Василий Львович. — Только бы увить ему кудри цветущим плющом и виноградом... Никто из вас, господа, я чай, и не поверит, что сей самый попрыгун и живчик на первой заре жизни, сиречь до семи лет, был неповоротливый пузан и медвежонок.

— Ну? Не может быть! — удивились товарищи Александра.

— Дядя преувеличивает, — отозвался племянник.

— Преувеличиваю? Шила, брат, в мешке не утаишь! Уж кому, как не мне, знать тебя с молодых ногтей? Расскажу вам, государи мои, в назидание только следующий случай. В одно прекрасное утро матушка нашего героя разрядила своего первенца, как куколку, и повела гулять. Медвежонок же с первых шагов устал и, как раз когда приходилось перейти улицу, категорически заявил свое решение:

— А я, мама, сяду.

Мама, понятно, так и ахнула.

— Куда сядешь? Боже тебя упаси!

Молодчик, между тем, привел уж в исполнение свое решение: преспокойно уселся посреди улицы, — благо, было сухо; но зато как сел, так вокруг него столбом пыль взвилась. А тут, как на беду, всю эту сцену видела из окошка ближнего дома какая-то дама и от души расхохоталась. Александр вломился в амбицию, окрысился и на всю улицу крикнул ей:

— Нечего зубы-то скалить!

На этом месте рассказ Василия Львовича был прерван громогласным хохотом слушателей-лицеистов. Сам герой рассказа, Александр, чтобы скрыть свое смущение, хохотал чуть ли не громче всех и залпом осушил свой бокал.

— Я советовал бы тебе, Александр, не пить больше, — предостерег его дядя, — ты так полнокровен...

— Что ж из того? — легкомысленно возразил Пушкин, откидывая назад голову.

— А то, дружище, что в возбужденном состоянии ты нам здесь, пожалуй, учинишь еще пуций афронт, чем достоуважаемой матушке. Можете вообразить себе, господа, как сконфузила вышеописанная выходка сына столь блестящую и гордую барыню, какова известная всему высшему кругу Белокаменной Надежда Осиповна Пушкина! Она готова была, как сама мне потом признавалась, сквозь землю провалиться и, разумеется, с того самого раза никогда уж его с собой гулять не брала. Вообще я должен относительно матушки его доложить вам...

— Оставьте, пожалуйста, дядя, маменьку мою в покое! — отрывисто и глухо пробурчал, весь вспыхнув, Александр и, уткнувшись в тарелку, с ожесточением принялся резать и набивать себе за обе щеки поданную ему котлетку.

— Да картина, любезнейший мой, не была бы полна...

— Ни слова больше! — перебил, задыхаясь уже, племянник. — А не то...

— Что?

— Я... я совсем уйду отсюда...

— Ну, ну, не буду. "Чти отца твоего и мать твою" — гласит пятая заповедь Господня.

И Василий Львович ласково стал гладить курчавую голову мальчика, приговаривая:

— Паинька-заинька!

Но такое детское обращение, да еще в присутствии товарищей, было чересчур обидно для нашего поэта-лицеиста. Он бросил на тарелку нож и вилку и разом отодвинулся от стола.

— Это уже слишком!..

— Нет, голубушка, по головке-то тебя, хочешь, не хочешь, а погладим, — не унимался дядя. — Господа! Подержите-ка его!

Вот это, действительно, было "уж слишком". Александр увернулся от протянутых к нему рук, опрокинул при этом стул, на котором сидел, и



бросился вон, прижимая к глазам платок.

— Да он, сумасшедший, в самом деле удерет! — не на шутку всполошился дядя. — Бегите за ним, господа, верните его...

Пуцин пустился в погоню и, нагнав беглеца у выхода из сада, остановил его.

— Куда же ты, Пушкин?

— Пусти! — со слезами в голосе проговорил тот, пряча платок и отталкивая Пуцину.

— Если домой, то ведь ты и дороги-то не знаешь, — продолжал убеждать Пуцин. — Заблудишься ночью. Бог знает, куда попадешь, а в лодке преспокойно доехал бы опять в компании.

— Ну да! Хороша компания дяди! Ты видел... Он воображает, что я все еще малютка...

— Да пойми же, что он смотрит на тебя как на своего сына, что он только пошутил!

— Шутка шутке рознь, и всякому терпению есть конец. Последняя его шутка была последнею каплей... но она переполнила чашу...

— Последнею каплей, мне кажется, был именно тот лишний глоток шампанского, от которого он раньше предостерегал тебя, — возразил шутливо Пуцин. — А уйдешь теперь, так ведь он, пожалуй, подумает, что ты не хочешь расплатиться, как обещал.

— Так вот — на, возьми мой кошелек...

— Нет, брат, не возьму; я в ваши семейные счета не мешаюсь.

В это время к двум приятелям подошел Малиновский.

— Где же вы запропалились, господа? Мы собираемся играть в кегли.

— Я не играю! — отказался Пушкин.

— Ну, так посмотри хоть: глядя, может, не удержишься, сам станешь играть.

— Да что с ним долго растабаривать, — решил Пуцин, — нейдет доброй волей, так поведем силой! Ты, Малиновский, бери-ка его оттуда, а я — отсюда.

И, подхваченный под руки с обеих сторон, Пушкин, почти уже не сопротивляясь, даже смеясь сквозь невысохшие еще слезы, направился со своими провожатыми к кегельбану.

## Глава V

### Молодое вино бурлит

*Я еду, еду, не свищу,  
А как наеду, не спущу!*

*"Руслан и Людмила"*

Наступил если не полный мир, то продолжительное перемирие. Четверо товарищей Пушкина, сбросив сюртуки и засучив рукава, с юношеским азартом предались треволнениям кегельной игры. Василий Львович не играл; вооружившись бокалом, он уселся на барьере кегельбана и, болтая по воздуху своими короткими ножками, делал игрокам дельные замечания, а в случае пререканий между ними — служил посредником-экспертом. Племянник, не совсем еще успокоенный, прислонился к столбу позади дяди и своими быстрыми глазами неотступно следил за игрою товарищей, не особенно умелую, но чрезвычайно одушевленную. Шары с треском и гулом катились вниз по галерее и с грохотом вторгались в расставленный на другом ее конце треугольник кеглей. Если кому удавалось хорошенько разгромить треугольник, то ловкость его награждалась общим возгласом одобрения; если же кто давал промах, то его осмеивали беспощадно.

— Этак-то и я сумею! — после одного такого промаха насмешливо заметил из-за своего столба Пушкин.

— Так что же, дружок, попробуй! — оглянулся на него дядя. — Век живи, век учись.

— Не хочу!

Однако веселость играющих была так заразительна, что когда после двух сыгранных партий Александра опять пригласили, он не только не стал отнекиваться, но даже счел нужным заявить:

— В кегли я, положим, не играл, но на бильярде играю, и очень даже недурно.

— Гречневая каша сама себя хвалит, — заметил соседу вполголоса Гурьев.

— Что?

— Глухим двух обеден не служат. Кидай, брат, кидай!

Пушкин по примеру прочих ухарски засучил рукав, смочил ладонь о влажную губку, взял шар и, раскачивая его, отступил на два шага.

— Внимание, господа! — крикнул под руку Гурьев. — Первый пробный, но мастерский шар!

Пушкин в это время разбежался и, размахнувшись, не мог уже удержать шара. От неопытности или от того, что Гурьев "сглазил под руку", увесистый шар вырвался из обхватывавшей его маленькой руки на полсекунды ранее, чем бы следовало, ударился о борт и покатился вдоль барьера, не задев ни одной кегли.

Понятно, что после предшествовавшей похвальбы игрока такая его неудача не обошлась без взрыва хохота окружающих. А Гурьев опять-таки не преминул подтрунить:

— Видели, господа? Вот у кого бы нам поучиться! Почему берешь за урок, Пушкин?

— Недорого, — был ответ, — здоровую плюху, если ты хоть слово еще пикнешь!

Угроза была сделана так задорно, что Гурьев даже побледнел, а прочие товарищи, видимо, были неприятно поражены грубостью Пушкина. Тут дядя его нашел нужным выступить в своей роли посредника.

— Ты — ужасный петух, Александр, — заметил он ему по-французски, — от друга-то можно бы, кажется, снести шпильку.

— Во-первых, он мне не друг, — огрызнулся по-французски же Александр, — а во-вторых, я никому не позволю таких шпилек...

— Француз! — послышался чей-то голос.

Пушкин мигом обернулся.

— Кто это бранится? Опять ты, Гурьев?

А тот уже схоронился за чужой спиной и оправдывался самым невинным тоном:

— И не думал... Господь с тобой! Что же, господа, будем мы еще играть или нет?

Игра возобновилась. Пушкин продолжал дуться, но в то же время бросал шар очень старательно, так что раз свалил даже восемь кеглей.

— А? Что? — обратился он к Гурьеву. — Гречневая каша даром, что ли, хвалилась?

— Да всех девяти штук ты все-таки не свалил!

— И ты не свалил.

— Захочу — свалю.

— Как же!

— А вот, гляди.

По какой-то счастливой или, вернее, несчастной случайности Гурьеву на этот раз в самом деле удалось свалить все девять кеглей, и он, ликуя, закружился на каблуке.

— Ай да я! Чья взяла, а?

Но торжество его было непродолжительно. Пушкин, не в силах уже сладить с собой, подступил к нему со стиснутыми кулаками, с трясущейся нижней челюстью и собирался что-то сказать; но непослужные губы его издали только какой-то детский лепет:

— Ва-ва-ва...

— Ва-ва-ва! — передразнил зазнавшийся Гурьев.

Клокотавшая в жилах Пушкина кровь ударила ему в голову, затуманила ее; не помня себя от гнева, он поднял на насмешника руку; но, к счастью, один из товарищей успел вовремя отвести удар, так что задорный кулак только слегка скользнул по плечу Гурьева. Этот до того перепугался, что расплакался навзрыд, как малый ребенок. Пуцин же проворно подхватил забияку под руку и увел в глубь сада.

— Помилуй, Пушкин, что ты делаешь? — урезонивал он его, шагая с ним рука об руку по темной аллее. — Положим, Гурьев тоже виноват; но ты видел сейчас, какой он нюня, точно старая баба: так стоит ли из-за него портить себе кровь? А главное, не забудь: ведь нам битых шесть лет придется высидеть вместе с ним в лицее.

— Все это я очень хорошо понимаю, — сознался со вздохом Пушкин, — но что поделаешь со своей дикой натурой? Я все равно, что горячая лошадь: раззадорили ее — и кончено! Готова сломя голову лететь через рвы и канавы в первую пропасть.

— Как это в тебе уживаются вместе такое безумство и такой ум? — заметил Пуцин. — А ума у тебя очень много, более, чем у кого из нас...

— Вот вздор! Я, может быть, прочитал только немножко больше книг...

— Не немножко, а в десять раз больше, поэтому ты и развитее нас. Мы с Малиновским уж толковали об этом, и он совершенно согласен со мной.

— Да разве я когда-нибудь важничал перед вами?

— Напротив: уму и познаниям своим ты точно не придаешь никакой цены. Зато в пустяках ты страшно самолюбив: никак не можешь простить, если кто-нибудь перецеголяет тебя в физической силе или ловкости. Ведь правда?

— Правда, и уж из этого одного, Пуцин, ты видишь, что я совсем не умен, а глуп.

— Нет, не глуп, а только — как ты сам сейчас сказал — дик, горяч.

Теперь вот ты успокоился и прекрасно понимаешь, что погорячился. Знаешь ли, что я сделал бы на твоём месте?

Юные приятели вышли в это время из тенистой аллеи обратно на открытую площадку перед рестораном, и последний отблеск потухающей зари отчетливо осветил лицо Пушкина, вполовину обращенное к собеседнику. В выразительных чертах его прежнее угрюмое упрямство уступило место искреннему раскаянию; на ресницах его сверкали слезы.

— Знаю! — сказал он и без оглядки побежал к кегельбану. Тут, подойдя сзади к Гурьеву, он опустил ему на плечи руки и шепнул на ухо:

— Прости меня... забудь, пожалуйста...

Трусюшка Гурьев никак, по-видимому, не ожидал, что гордец Пушкин сам придет к нему с повинной, и в первую минуту сильно испугался. Но, заглянув в застенчиво-дружелюбные глаза своего недавнего врага, он понял, что действительно гроза миновала, и крепко обнял, расцеловал его.

— И ты забудь... Милые бранятся — только тешатся.

— А что же у меня-то, Александр, ты так и не попросишь прощения? — со снисходительной усмешкой спросил Василий Львович.

Александр также улыбнулся в ответ и потупился.

— Да ведь не я, дядя, первый начал...

— Так, стало быть, и не тебе первому мириться? Ну, изволь, Господь с тобой! Гора не подошла к Магомету, так Магомет подошел к горе.

При виде протянутой ему руки сердце Александра смягчилось, и он так искренно сжал эту выхоленную, пухлую руку своими костлявыми, нервными пальцами, что Василий Львович даже поморщился.

— Полегче, брат!

Таким образом, общий мир был окончательно заключен и уже не прерывался. Гурьев после данного ему Пушкиным урока точно воспылал к нему особенною нежностью и весь остальной вечер заискивал, юлил около него, заглядывал ему в глаза, громче всех смеялся его островам.

Когда, наконец, стали собираться восвояси и потребовали от буфетчика расчета, то между двумя Пушкиными — дядей и племянником — завязалось благородное соревнование: ни один из них не хотел допустить другого до расплаты. Александр, отведя дядю рукой, высыпал из маленького бисерного кошелька своего на прилавок весь наличный свой капитал. Но тут оказалось, что капитал этот не покроет и половины сделанных «депансов». Василий Львович, смеясь, доплатил остальное.

— Что и требовалось доказать! — сказал он. — А впоследствии, брат, увидишь, еще займешь у меня.

— Клянись вам, дядя...

— Не заклиняйся: нарушение клятвы — один из самых тяжких грехов.

## Глава VI

### Первый привет лицея

*Прощай, свободная стихия!  
"К морю"  
Мой первый друг, мой друг бесценный!*

*"И. И. Пущину"*

Открытие лицея, предполагавшееся к началу учебных занятий в других учебных заведениях, то есть 1 сентября, отлагалось дважды: сперва — вследствие замедления во внутренней отделке лицейского здания, потом — вследствие несвоевременной доставки из Петербурга классной мебели. Наконец, все было готово, и воспитанникам было предложено съехаться в Царское Село за несколько дней до 19 октября, когда должно было последовать формальное открытие лицея.

За три дня до этого торжества Пушкины, дядя и племянник, выехали к месту в собственной бричке Василия Львовича, в которой прибыли еще из Москвы. Единственным путем сообщения между столицей и Царским Селом служило в то время шоссе; а так как им пользовался и весь высочайший двор, то оно содержалось в образцовом порядке, и трехчасовой переезд в Царское не столько утомил наших бывалых путешественников, сколько возбудил в них волчий аппетит. Директор лицея Василий Федорович Малиновский принял Пушкиных тем более радушно, что знал Василия Львовича еще по Москве, и тотчас распорядился закуской. В ожидании последней Василий Львович усадил хозяина рядом с собой на диван и, схватив его за пуговицу, с обычным своим увлечением стал осыпать его, как из рога изобилия, столичными новостями. Племянник между тем точно чем-то подавленный, пришибленный, отошел на противоположный конец комнаты к окошку, выходившему в сад.

До последних дней погода стояла чуть не летняя: ясная, теплая. Но в последнюю ночь ртуть в градуснике разом упала ниже нуля: с раннего утра стоял густой туман, а теперь, к полудню, разыгралась первая зимняя вьюга. С ноющей тоской следил Александр за безжалостной игрой бушевавшего ветра: как срывал он с деревьев последние листья, как смешивал их с хлопьями крутящегося снега и тут же засыпал безжизненной белой

пеленой, — не так ли точно срывались теперь и последние листья с вольного, беззаботного детства его, Александра, и заметались не на один год, а на целые шесть лет мертвящим снегом школьной дрессировки?

И крылатая мечта перенесла его уже далеко-далеко — в Москву, а оттуда еще за 40 верст далее — в милое Захарьино, имение покойной бабушки его, Марьи Алексеевны. С ранней весны они всей семьей перебирались уже туда на дачу; и вот он вдвоем с сестрицей Олей, неразлучной подругой его детских игр, весело обегает сперва весь дом, а потом взламывает наглухо заколоченную с осени дверь балкона. О, как здесь чудно, свежо, как дышится вольно! Рука об руку с Олей он соскакивает в сад и, со смехом таща ее за собой, во весь дух несется вниз по кленовой аллее, покрытой первым зеленым пухом, к манящему вдали зеркальному пруду. Бегут они и на бегу кричат друг другу:

— Смотри-ка, смотри: вон тут, помнишь, мы играли сколько раз в горелки?

— А там, направо, видишь, старый дуб, где обедали всегда в жаркую погоду?

В это время откуда-то доносятся к ним звонкие девичьи голоса, так и заливающиеся знакомою песней.

— Ах, это, верно, опять хоровод в деревне!

Но вот сестрицу Олю увели переодеваться. Он, Александр, потихоньку уносит со стола забытую отцом книжку с зарывается в глубину парка, где его уже никто не разыщет. Растянувшись на мягкой душистой траве, он раскрывает книгу. Но лежать здесь так отрадно: солнечные лучи сквозь прозрачную еще зелень пригревают так ласково... И интересная книга валится у него из рук. Заложив вместо подушки за голову руки, он лежит на спине и, не отрывая глаз, глядит в это синее между зелеными верхушками небо, по которому тихо-тихо плывут молочно-белые облака. И грудь у него ширится, точно готова распахнуться, и сам он готов ринуться туда, в эту глубокую, бездонную синеву, и, падая, ухватиться за облачко, чтобы поплыть на нем, чем дальше, тем лучше, хоть на самый край света...

— О чем замечтались, милый мой! — прозвучал над самым ухом Пушкина чей-то не то насмешливый, не то вкрадчивый голос, и чья-то рука фамильярно легла к нему на плечо.

Милые видения недавнего прошлого разлетелись, как дым. Снова перед глазами его замелькали, закрутились бесчисленные снежные хлопья, снова навис сверху непроглядный, свинцово-серый небесный свод, а сердце загрызла прежняя тоска. Резким движением плеча он отвел непрошеную руку и, нахмурясь, обернулся.



Перед ним стоял сухопарый господин в вицмундире, с тонкою усмешкой на тонких губах и с умильно-прищуренными, маслянистыми глазами; но глаза эти, вместе с тем, глядели так пристально, что, казалось, хотели проникнуть в самую душу.

— С кем имею честь?.. — холодно пробормотал Пушкин. Незнакомец беззвучно рассмеялся и ответил тем же ласковым тоном:

— Имеете честь говорить с одним из ваших будущих начальников, классным надзирателем Мартыном Степановичем Пилецким-Урбановичем. Но таковым я почитаюсь только по званию служебному, на деле же я буду вашим ближайшим другом, который вполне заменит вам и отца, и мать, и дядю.

— Никогда! — вырвалось у Пушкина.

— Та-та-та! Экой вы, милейший мой, недотрога и незамайка. Мне говорили уж, что вы до сей поры, как одичалый конь, не ведали узды и браздов. Наши бразды будут самые вольготные, можно сказать — бархатные, но все же научат вас идти туда, куда долг велит. Вы вступаете у нас, дорогой мой, в такую же родственную семью, как ваша, но, несомненно, в более благоустроенную, ибо, как я не без огорчения слышал...

Пушкин не дал ему договорить.

— Прошу вас, господин надзиратель, не трогать моей семьи! Я этого не могу позв... не могу слышать...

Пилецкий промолчал, только сжал свои тонкие губы, повернулся на каблуках и отошел к Василию Львовичу, который продолжал свою неумолкаемую беседу с Малиновским.

— Однако племянничек-то ваш, господин Пушкин, признаться сказать, еще строптивее, чем вы мне давеча говорили! — заметил Пилецкий.

— Не всякое лыко в строку, господин надзиратель, — благодушно вступился Василий Львович, — разлука, знаете, с родными, новая обстановка, то да се...

— Да и голод, конечно! — хватился Малиновский. — Что ж это не подадут горячего бульону?

И, позвонив слугу, он распорядился завтраком.

— Прошу вас, господа, закусить, чем Бог послал. Александр! Подите же сюда, покушайте с нами.

— Благодарю... право, не хочется... — отказался мальчик.

Зато Василия Львовича не нужно было еще раз просить; смачно закусывая, он обратился к надзирателю:

— Извольте видеть: даже аппетит у молодца отбило, хоть с утра во рту

маковой росинки не было. Выражаясь фигурально, это — молодое деревцо, пересаженное на чужую почву: как его ни поливай — в первое время свежие дотоле листья поблекнут, свернутся. Все теперь в ваших руках, в руках его будущих садовников; вы можете акклиматизировать его, заставить приносить обильные и сочные плоды, как вот эта ветчинка. А славно запечена! Это у вас здешний колбасник мастер такой или из Питера вывезли? Отведай, Александр: во рту, я тебе скажу, тает.

— Ей-Богу, не могу, дядя...

— Ну после, за общим столом накушается тем плотнее, — заметил Малиновский. — Вы бы, Мартын Степанович, отвели его теперь к товарищам, это его немножко развлекло бы.

— Слушаю-с, — отвечал Пилецкий и взял уже Александра за руку.

Но Василий Львович остановил племянника:

— Да ведь мы с тобой, я думаю, уж не увидимся?

— Вы сейчас разве едете, дядя?

— Мне надо еще уложиться в Москву.

Племянник заволновался.

— Как? Но перед отъездом туда вы все же заедете сюда, в Царское?

— Да, проездом, пока на станции перепрягают лошадей, может статья, загляну на минутку. Но проститься, на всякий случай, не мешает.

— А к открытию лица вы разве не будете?

— Не пустят, дружок: за множеством сановников, которые будут сопровождать их величества, для нашего брата, простого смертного, говорят, места не хватит.

— Да, к сожалению, — подтвердил директор, — по распоряжению министра...

— Ах, дядя!..

— Что, голубушка родная, жутко стало? Ничего, не тужи! Терпи казак — атаманом будешь. А дома-то от тебя поклониться?

— Пожалуйста! Оле, няне...

— И родителям?

— Да, конечно... Прощайте, дядя...

— А обнять на прощанье не хочешь?

Александр, не сдерживая уже слез, повис у него на шее.

— Прощайте... не забывайте меня, пишите... Благодарю вас, дядя, за все, за все...

— Не за что, милый мой, — отвечал растроганный Василий Львович, целуя племянника.

Так же порывисто, как обнял дядю, Александр оторвался теперь от

него и выбежал из комнаты, отирая на бегу глаза. Надзиратель Пилецкий схватил со стола свою фуражку и поспешил за мальчиком, напрасно крича ему:

— Куда же вы, Пушкин? Ведь вы и дороги-то не знаете!

Догнал он его только на другой стороне двора, когда Пушкин поневоле задержал шаг, недоумевая, в какую дверь войти. Буйным ветром так и развевало на непокрытой голове его густые кудри, так и хлестало его по разгоряченному лицу колючими снежинками.

— Сюда, за мной! — крикнул ему Пилецкий, бросаясь в ближайшую дверь. — В четвертый этаж!..

Пушкин уже опередил его и, шагая через две ступени, побежал наверх. Тут на повороте лестницы он столкнулся лицом к лицу со спускавшимся вниз другим лицеистом, в казенной уже форме — синем сюртуке с красными обшлагами.

"Пушкин!", "Пуцин!" — вырвалось разом у обоих.

Не будь тут надзирателя, который, задыхаясь, догонял Пушкина, они, быть может, заключили бы друг друга в объятия; теперь же, в присутствии незваного свидетеля, они ограничились только рукопожатием. Впрочем, и Пилецкому, должно быть, уже порядком успел надоесть не в меру шустрый новичок-лицеист, потому что он поспешил сбить его с рук.

— Очень рад, что вы попались нам, Пуцин. Отведите-ка товарища в его камеру да кликните дежурного дядьку.

С этими словами он отворил соседнюю дверь третьего этажа и захлопнул ее за собой. Лицеисты наши продолжали стоять на площадке, держась за руки и глядя вслед надзирателю.

— С этой минуты, значит, мы шесть лет будем неразлучны? — заговорил первым Пуцин, крепко сжимая руку приятеля и дружески заглядывая ему в глаза. — Да ты, Пушкин, никак плакал?

— Ах, вовсе нет!.. — сконфуженно возразил тот. — Я не выспался хорошенько...

— Чего же ты стыдишься? Ведь ты, верно, сейчас прощался с Василием Львовичем?

— Прощался.

— Ну, вот. И я тоже, когда расставался со своими, — а они совсем близко, в Петербурге, — и я захныкал, как маленький ребенок.

— Мы оба, стало быть, еще дети! — рассмеялся Пушкин. — Однако, здесь на лестнице вовсе не жарко.

— И то правда! Идем же, идем. Я тебе сейчас покажу твою новую квартиру. Ну, кто скорее?

И, по-прежнему держась за руки, они взапуски пробежали остальные ступени до четвертого этажа.

## Глава VII

### На новоселье

*Стул ветхий, необитый,  
И шаткая постель,  
Сосуд, водой налитый,  
Соломенна свирель -  
Вот все, что пред собою  
Я вижу...*

*"К сестре"*

В нижнем этаже отведенного для лица флигеля царскосельского дворца было размещено все лицейское начальство (за исключением директора, поместившегося в надворной пристройке); во втором этаже были: столовая, конференц-зал, канцелярия и больница; в третьем — классы, рекреационный зал, физический кабинет, а в арке, соединявшей лицей с главным зданием дворца, — библиотека лицеистов, где насчитывалось уже в 1811 году 800 томов; наконец, весь четвертый этаж, куда поднялись теперь Пушкин и Пущин, был занят дортуарами воспитанников. Вдоль всего этого этажа шел коридор, который освещался только решетчатыми окошечками в дверях камер, расположенных по обе его стороны, так что даже в светлый, солнечный день там царствовал полумрак, а теперь, в пасмурную погоду, было еще темнее. В этих потемках Пушкин едва разглядел общие очертания двигавшейся издали навстречу им мерным солдатским шагом коренастой, рослой фигуры.

— Старший дядька наш Леонтий Кемерский, — шепнул ему Пущин, — преуслужливый, но и продувной!

Рекомендованный так дядька приблизился к нему между тем уже настолько, что Пушкин различил весьма благообразного, осанистого старика бакенбардиста с целым рядом медалей и крестов на широкой, выпуклой груди и с несколькими почетными нашивками на рукаве.

— Вот, Леонтий, я привел тебе еще новичка — № 14,- заявил ему Пущин.

Леонтий сделал новичку по-военному под воображаемый козырек.

— Здравия желаем вашему благородию! Добро пожаловать! Камера

ваша давно по вас плачет.

Достав из кармана полную горсть нумерованных ключей, он пошел назад по коридору и, пройдя несколько камер, остановился перед дверью с черною дощечкой, на которой Пушкин прочел надпись:

**"№ 14. Александр Пушкин".**

— А посмотри-ка, рядом кто, — сказал Пуцин. На соседней двери такая же дощечка гласила:

**"№ 13. Иван Пуцин".**

Пушкин переглянулся с приятелем сияющим взором.

— Сама судьба нас свела!

Дядька тем временем раскрыл настежь дверь и покровительственным движением руки ввел новичка во владение его будущим жилищем.

— Милости просим, сударь! С новосельем-с.

Камера была невелика, но во всяком случае достаточно вместительна для одного человека, тем более для подростка. В ней стояли: под окном — столик, у одной стены — кровать и умывальный стол, у другой — комод с зеркальцем над ним, стул и конторка. Окрашенная в светло-серый цвет с красной каемкой по потолку, освещаемая единственным, но высоким окном, комнатка эта даже теперь, в серый зимний день, имела приветливый, уютный вид. На конторке стояли чернильница и шандал со щипцами (в то время употреблялись одни только сальные свечи, с которых нагар «снимался» щипцами), а на гвоздях у дверей аккуратно были развешаны полотенце и казенная амуниция нового постояльца. Глаза Александра прежде всего с удовольствием остановились на чернильнице.

— И чернила уж налиты! — сказал он.

— Да, чернильная душа, — отвечал Пуцин. — Можешь хоть сейчас приняться писать стихи.

— Нет уж, батюшка, ваше благородие, — вмешался дядька, буквально принявший слова Пуцина, — перво-наперво дайте им хошь перерядиться, как быть следует.

Выдвинув ящик комода, он достал оттуда белье, снял с гвоздя форменное платье и поштучно стал подавать Пушкину каждую вещь, приговаривая:

— Наша обязанность, сударь, хранить и холить вашу милость, яко зеницу ока. Душевное здравие ваше — дело начальства, за телесное отвечает наша братия, нижние служители, перед совестью и перед Богом.

— Оттого-то он без ведома начальства и снабжает нас всяким контрабандным товаром, — шутливо добавил Пуцин.

— А нешто не святая обязанность наша ублажать вашу милость и без воли начальства? — убежденным тоном спросил Леонтий. — Окромя птичьего молока разве, всяку штуку вам раздобудем... Вот-те на! Совсем ведь из старой башки вон! — хлопнул он себя по лбу. — Память, знать, уж отшибать начинает. Не казните, ваше благородие! Сейчас все справим...

И, положив белье и платье бережно на кровать, он исчез за дверью.

— Куда это он? — недоумевал Пушкин.

— А ты не догадываешься? Ведь он же наш обер-провиантмейстер и вдруг так оплошал: не позаботился приготовить тебе для первого знакомства приличное угощение! Понятно, что тебе нужно будет отблагодарить его. "Сухая ложка рот дерет" — любимая его пословица.

Пушкин машинально хватился рукой за то место, где у него в «собственном» платье был карман; потом, точно вспомнив что-то, насупился.

— Такая досада, право...

— А что?

— Да так...

— Понимаю: денег нет? Ведь ты тогда на Крестовском все до последней копейки издержал?

— Н-да...

— А дядя взятых у тебя на хранение ста рублей так и не возвратил?

— Забыл, конечно...

— А ты, конечно, спросить забыл?

— Не то, знаешь, в голове было...

— Ну, ничего, у меня есть лишние...

И Пуцин торопливо вынул свой кошелек, из которого, отвернувшись, достал блестящий, последней чеканки серебряный рубль.

— На вот целковый; будет с него на первый раз.

Пушкин, однако, успел разглядеть, что кошелек товарища был довольно тощ, и, не принимая монеты, спросил:

— Да ведь целковый этот у тебя единственный?

Пуцин покраснел и замялся.

— О, нет... — пробормотал он.

— А отчего он такой новенький? Верно, подарил тебе кто-нибудь на прощанье?..

— Ну, прошу тебя, возьми! — умоляющим голосом настаивал Пуцин. — У меня тут осталось мелочи, сколько угодно...

И он насильно втиснул рубль в руку приятеля. Сделал он это как раз вовремя, потому что лицейский обер-провиантмейстер Леонтий Кемерский

показался уже опять на пороге, нагруженный обещанным «угощением». Тщательно притворив за собою дверь, от отвесил Пушкину поклон в пояс.

— Бьем челом вашему благородию хлебом-солью!

После чего самодовольно стал разгружаться и разъяснять:

— Это вот, батюшка-сударь мой, ситный хлеб утрешнего печенья — извольте видеть, какой рыхлый, мяконецкий! А сверху-то еще золотой паточкой помазан: что ни есть подходящее для балованного барского желудка. Тут вот плиточка царского шоколадцу. Испробуйте-ка, так во рту и тает-с! А здесь пяточек яблочков: небольшие хошь, да чисты, румяны, что твоя щечка девичья. Заправские, крымские! Мал золотник, да дорог.

— Спасибо, братец, — поблагодарил Пушкин и сунул ему в руку только что навязанный Пуцциным рубль, — получи.

— И вам, сударь, сугубое мерси! Дай вам Бог доброго здоровья! Нашему брату этих подачек вовсе бы и не нужно, да как отказать? Еще, чай, в обиду примете! В ину пору я вам и не тем бы еще услужил: чашечкой кофе с бисквитцами, что ли...

— Спасибо, и с этим-то мне разом не справиться, — ответил Пушкин и, отломив половину большущего ситного каравая, принялся с аппетитом уписывать его за обе щеки.

— Кушайте во здравие, ваше благородие! Ну, что скажете, каков хлебец-то? Правду я говорил, не соврал?

— Очень хорош.

— Пряник печатный-с! Да-с, придворный хлебопек-то наш — мастер своего дела; даром что русский человек — всякого немца-булочника за пояс заткнет. И скажу вам теперя, ваше благородие, по чистой совести, значит: за доброту да за ласку вашу от сей минуты дядька Леонтий Кемерский вашей милости покорнейший холоп. Свистните только — и он уж, как в сказке бурка-кавурка, тут как тут.

— У тебя и без меня, я думаю, довольно дела?

— Это точно, верное слово изволили сказать. И прочим-то дядькам работы вдосталь, не сидят сложа руки, а старшему и того паче: за ними, братьей своей, да за инвалидами, что им в помощь даны, гляди в оба, чтобы не баловались, — это раз; лампы да свечи приправляй, за топкой наблюдай, чернила доливай — это два; за исправность и мебели-то казенной, и одежды вашей, и тетрадок, и карандашей, и перьев головой отвечай — три; градусники везде проверяй, чтобы в спальнях, значит, было тепла ни больше, ни меньше, как градусов 12–13, в столовой — 13, в классах — 13 — 14!.. Вот и со счету сбился! Кажись, четыре?

— Да, четыре, — сказал Пуццин и, шутя, помог ему далее в счете, —



лакомства нам добывай и желудки порть — пять.

— А уж это грех вам, сударь, говорить! Товар у меня самый свежий: сосуну-младенцу в ротик хоть положь — и тот проглотит без вреда для себя. Как перед Богом могу сказать: служу вам, яко ангел-хранитель, денно и ночью глазу над вами не сомкну.

— Зачем же и "ночью"? — спросил Пушкин. — Если мы спим, так отчего же и тебе не спать?

— Нет, сударь, нельзя-с; вы, стало, порядков наших еще не знаете. Днем нам, дядькам, положено дежурить при вас и в классах, и на гуляньи, и за столом, а ночью — ходить, коли дежурство на тебя выпало, вон тут, по коридору, взад да вперед, ровно маятник в часах, поглядывать в окошечки направо и налево.

— Для этого-то, видно, и окошечки в дверях у нас проделаны?

— Знамое дело. А не углядишь чего, прозеваешь — ну и жди грозы: нагрянет среди ночи, как снег на голову, либо надзиратель, либо дежурный гувернер...

— Да что же прозевать-то?

— Мало ли что! Хошь бы то, что вы засиделись, заболтались друг у дружки, али с книжкой за полночь лежите, даром казенное сало жжете.

— Да неужели и читать-то ночью нельзя?

— Отнюдь. Я к этим порядкам давно приобык: в пажеском корпусе дядькой же без мала двадцать лет состоял. Зато сюда прямо и наибольшим поставлен. Да и где же читать еще вам, сударь, коли ровнехонько в шесть часов каждым утром колокол вас с постели встряхнет?

— Но если для меня чтение все равно, что воздух, если я без него жить не могу!

— Охота, значит, пуще неволи-с? — спросил Леонтий и подмигнул лукаво одним глазом. — Ну, что ж, ваше благородие, на нет и суда нет. Коли у вас уж малодушество такое, что без грамоты вам никак быть нельзя, так от нашего брата, мелкой сошки, вам заказу в том не будет: жгите себе огня, сколько душеньке угодно, а наше дело только подать вам знак с коридору, чтобы врасплох, значит, не застало начальство.

— Хитер и увертлив, как истый шляхтич! — заметил Пуцзин.

Сановитый, бравый дядька выпрямился во весь рост и окинул сверху мальчуганов-лицеистов огненным, чуть-чуть презрительным взглядом.

— Шляхтич-то шляхтич, не отрекаюсь, — с достоинством произнес он, — но отставной сержант гвардии блаженной памяти матушки-царицы нашей Катерины Алексеевны (царствие ей небесное!); прослужил смолоду до седых волос русскому царю честью и правдой и до издыхания своего

пребуду столь же верным слугою престола и отечества!

## Глава VIII

### Тюрьма или клетка?

*Последняя туча рассеянной бури!  
Одна ты несешься по ясной лазури,  
Одна ты наводишь унылую тень,  
Одна ты печалишь ликующий день.  
Довольно, сокройся!..*

"Туча"

— Так-то ты служишь престолу и отечеству? — внезапно раздался из-за двери посторонний голос.

Если бы теперь, среди зимы, грянул вдруг оглушительный раскат грома, все трое разговаривавших не содрогнулись бы, кажется, так, как от этого голоса, слишком им знакомого. Все разом, как по команде, повернулись лицом к проволочному окошечку в дверях, из-за которого сверкали на них два жгучих глаза.

— Мартын Степаныч... — пробормотал не менее школьников смешавшийся дядька и вытянулся в струнку, руки по швам.

— Да, Мартын Степаныч, — подтвердил надзиратель и, распахнув дверь, вошел в камеру. — Твоя служба престолу и отечеству, стало быть, в том, чтобы язык точить по пустякам? А это что?

Вопрос относился к ломтю намазанного патокой ситника в руках Пушкина и к заманчиво разложенным на комодке другой половинке ломтя, шоколадной плитке и кучке яблок.

— Голод не тетка, ваше высокоблагородие, — нашелся тотчас же обер-провиантмейстер, — а в желудке у них нынче полк квартировал...

— И ты ничего умнее не придумал, как эти сласти, от которых и желудок и зубы разболят? И яблоки, я уверен, незрелые.

Говоря так, Пилецкий взял с комода самое крупное яблоко и откусил половину его.

— Вон как крепки, хоть и довольно сочны, — продолжал он. — Покупать, господа, съестное на свои деньги вам, пожалуй, и не возбранено, но, не говоря уже о бесполезной трате денег, вы из простой деликатности к нашему образцовому заведению могли бы быть воздержаннее: вы здесь у

нас на полном содержании и коште, и голодать вам никак уж не полагается.

— Но я с утра ничего не ел... — позволил себе заявить Пушкин.

— А зачем же вы, миленький мой, не ели? — беззвучным своим смехом рассмеялся Пилецкий. — Ведь Василий Федорович, добрейший директор наш, в виде исключения предлагал вам давеча закусить? Хлеб свой так и быть доедайте, но все прочее тут сохраните для десерта, что ли, после обеда. Сами потом мне спасибо скажете. Впрочем, четырех штук яблок вам, пожалуй, много: как раз захвораете. Парочку, с вашего разрешения, я захватил бы с собой для своих деток. Дозволите?

— Берите хоть все! — с холодной гордостью отвечал Пушкин.

— Вам жалко? Ну, не нужно.

Пушкин покраснел как рак.

— Нет, берите, пожалуйста, берите все...

— Ну, благодарствуйте. Парочки с меня довольно. Казенная форма на вас, я вижу, сидит как на заказ. Грива только невозможная: длинна, да и завита никак.

— Да, природою! — уже рассмеялся мальчик.

И надзиратель благодушно усмехнулся.

— Против погрешностей природы, дорогой мой, есть у нас радикальные средства; в данном случае — ножницы. Ужо, Леонтий, как придет парикмахер, не забудь кликнуть этого молодчика.

— Слушаю-с, ваше высокоблагородие.

— А теперь, господа, не угодно ли спуститься в рекреационный зал: там вывешено сейчас расписание будущих ваших уроков. Чай, небезынтересно и вам взглянуть?

Лицеисты послушно вышли из камеры и ускоренным шагом направились по коридору.

— А он вовсе не такой людоед, как мне показалось сначала, — вполголоса заметил на ходу Пушкин. — Только зачем у него на языке все эти сахарные прозвища: "дорогой мой", "миленький мой!"...

— Сахар Медович, привычка уж такая, что поделаешь? — отозвался Пуцин. — Но вообще он к нам очень внимателен.

— Кажется, даже чересчур! На язычке мед, а под язычком лед.

— Да, от него ничего не скроешь, все пронюхает, разглядит, и если раз попадешься, то не жди пощады.

— О ком это вы говорите, Пуцин? — послышался опять в двух шагах за ними медовый голос Пилецкого, который на своих мягких подошвах без каблуков неслышно нагнал лицеистов. — Если обо мне, то ошибаетесь: как истинный христианин я, видя искреннее раскаяние, всегда готов пощадить;

злонамеренного же упорства я, точно, не поущу.

Застигнутые врасплох мальчики, как преследуемая дичь, бросились бежать и, спустившись с лестницы, искали спасения в рекреационном зале.

Здесь от нескольких десятков молодых голосов стоял в воздухе такой гул и гам, что в первую минуту Пушкин был точно оглушен. Вдруг навстречу ему бросился Гурьев с распростертыми руками.

— А! Француз! Душка ты мой!

И прежде чем Пушкин успел отстраниться, тот облобызал его в обе щеки.

— Француз! Француз! — весело подхватили другие и, обступив вновь прибывшего, стали наперерыв пожимать ему РУку.

В это время к ним подошел высокий и статный мужчина лет 28-ми, в вицмундире, беседовавший в углублении окна с двумя-тремя воспитанниками.

— Куницын! — шепнул кто-то около Пушкина.

— Здравствуйте, Пушкин, — заговорил молодой профессор и затем обернулся к прочим: — Вы, господа, кажется, и не подозреваете, что делаете ему честь, называя его Французом? Вы этим признаете только его превосходство над вами во французском языке. Или в вас говорит зависть? Не хотелось бы думать.

Внушение было сделано с такою добродушною, благородною строгостью, что лицеисты не могли обидеться, а только смутились. Гурьев же, благоговейно сложив пальцы, проговорил как бы про себя, но настолько явственно, что нельзя было не расслышать:

— Как это верно, как хорошо сказано!

Если он рассчитывал заслужить этим благодарность профессора, то ошибся в расчете: Куницын оглядел его слегка презрительным взглядом, подозвал к себе Пушкина и, обняв его за плечи, пошел ходить с ним по зале.

— Вы дружны с этим Гурьевым? — был первый вопрос его.

— Нет, только случайно раньше познакомились, — отвечал Пушкин.

— И не советую особенно дружиться с ним. А что до клички Француз, — прибавил он, ласково улыбнувшись, — то предрекаю вам, что она, как наклеенный ярлык, за вами так и останется. Ну что, каково вам здесь показалось? Дома вы пользовались полною свободой, а мы одели вас в общую форму, втиснули в рамки определенного расписания, точно связали по рукам и ногам, не правда ли?

— Ах, да... — вздохнул Пушкин. — И в дверях камер даже проволочные решетки, как в тюрьме...

— Не думал я, признаться, что попаду в тюремщики! — засмеялся Куницын. — Но успокойтесь: поверьте мне, что скоро обживетесь, как птичка в клетке. Вы здесь не в тюрьме, а в клетке.

— Только не в золотой!

— Именно в золотой. Великодушный монарх наш приютил вас, лицеистов, в своем царском чертоге, предоставил вам даже тот самый флигель, где до сих пор жили его младшие братья и сестры. Радея о вас, как о родных детях, он отдал вам свою собственную библиотеку, где многие книги носят еще на полях собственноручные его драгоценные пометки. "Мне надобны люди добрые, честные для службы моей" — его подлинные слова. И дабы подготовить вас надлежащим образом "ко всем важным частям службы государственной" (как дословно выражено в высочайшем указе), мы, ваши ходатаи и рачители, приставлены к этой золотой клетке кормить вас самым отборным научным зерном. А отрастут у вас крылья — с Богом! — летите на все четыре стороны и всемерно прославляйте имя нашего державного куратора, что вашу юность так отечески возлелеял. Слегка напыщенная, но образная речь молодого профессора сама по себе не могла уже не затронуть созвучной струны в груди мальчика-поэта. А глубокая убежденность, почти юношеская восторженность, которыми дышало каждое слово этой речи, придавали ей неотразимую силу. Увлеченный ею, Пушкин откровенно признался:

— Я всегда безотчетно любил государя: он так ангельски добр, говорят! В памяти моей навсегда останется один случай, о котором я как-то слышал в детстве.

— Какой это случай?

— А однажды, видите ли, государь со свитой гулял верхом за городом. Вдруг он поскакал вперед. Оказалось, что на берегу реки он увидел толпу крестьян, которые, вытащив из воды утопленника, не знали, что с ним делать. Государь соскочил с коня, велел раздеть покойника и вместе с крестьянами стал тереть ему виски, руки, подошвы ног. Между тем прискакала и свита и, можете себе представить, как была удивлена! А крестьяне совсем обомлели: они до тех пор принимали государя за простого офицера. В свите был и лейб-медик... Забыл, как его зовут...

— Вилье, — подсказал Куницын.

— Да, Вилье! Он достал сейчас же ланцет и стал пускать утопленнику кровь. Но кровь не пошла. Государь не мог успокоиться и целых два часа вместе со свитой и крестьянами возился с несчастным. Но все старания были напрасны. Государь был в отчаянии и велел Вилье еще раз попробовать пустить кровь. И что же? — Кровь пошла, покойник очнулся!

Государь от радости даже заплакал и сказал: "Эта минута — счастливейшая в моей жизни!" — Разорвав собственный свой платок на бинты, он вместе с Вилье перевязал больному руку и оставил его только тогда, как убедился, что всякая опасность миновала. Английское общество "Спасения погибающих", когда узнало о таком поступке государя, прислало ему золотую медаль и диплом почетного члена.

— И это не единичный случай, — сказал Куницын, выслушав рассказ Пушкина с сочувственным вниманием. — Но еще более, быть может, должны мы ценить его общие меры человеколюбия. Вы — мальчик развитой, вы меня поймете.

И с прежним одушевленным красноречием он передал теперь подробности о том, как император Александр Павлович вслед за восшествием на престол раскрыл ворота Петропавловской крепости для всех в ней заключенных; как уничтожил виселицы на площадях в городах и селах; как отменил пытку во всех видах ее: с истязаниями и "пристрастными допросами"; как изгнал слово «нещадно» даже из судебных приговоров; как облегчил разные затруднения к поездкам русских за границу и к въезду иностранцев в Россию; как для возможного уравнивания прав своих подданных разрешил купцам, мещанам и казенным поселянам покупать земли; как воспретил публикации в ведомостях о продаже людей без земли...

— И говорят даже, — прибавил Куницын с возрастающим увлечением, — что государь задумал совсем освободить крепостных крестьян...

— Этим он себя обессмертит! — воскликнул Пушкин. — Позвольте, я сейчас расскажу другим...

— Чшшш!.. Пока никому ни слова! — спохватился профессор. — У меня как-то нечаянно с языка сорвалось. О будущих благих предначертаниях своих сам государь хранит молчание, и хотя бы таковые им даже окончательно решены и сделались известны всему свету, он не любит громких восхвалений, ибо до крайности скромнен. Пример: после войны 1805 года кавалерская дума наша преподнесла ему в ознаменование воинских доблестей противу современного цесаря — Наполеона Бонапарта орденские знаки Георгия 1-й степени; а он что же? — отклонил от себя столь высокое отличие и принял лишь те же знаки 4-й степени. Теперь вы, я полагаю, понимаете, за что его все так любят?

— О да! Не любить его — боготворить надо... Как бы мне хотелось хоть раз увидеть его!

— А вам разве не довелось еще его видеть?

— Никогда!

— Ну, скоро удастся — в этот четверг, 19 числа. А видеть его надо: он прекрасен и духом и телом.

Подошедший тут к Пушкину дядька Леонтий Кемерский прервал дальнейший разговор.

— Пожалуйте-ка, ваше благородие, цирюльник ждет не дождется.

Неохотно оторвался мальчик от молодого профессора, который своею благородною пылкостью сразу привлек его к себе.

День пролетел незаметно среди разнообразных новых впечатлений, в тесном кругу товарищей-лицеистов. Когда же после вечернего чая все они разбрелись по своим кельям, и Пушкин вошел к себе усталый, с отяжелевшей от всего пережитого в течение одного этого дня головой, им овладело вдруг смутное чувство полного одиночества. В первый раз в жизни ведь он был один, совсем один! Правда, эти новые товарищи были веселые, резвые мальчишки, но все же чужие ему, как и эта комната...

Он тоскливо огляделся: тускло горела на ночном столике единственная сальная свеча; неприветливо стояла кругом казенная скромная мебель, а в дверях зияла черными квадратами проволочная сетка...

Келья, как есть, да еще тюремная!..

С тяжелым вздохом Пушкин протянул руку к лежавшей на комодке плитке шоколада и случайно взглянул при этом в висевшее над комодом зеркальце. Оттуда в упор уставилось на него, точно чужое, незнакомое ему теперь, собственное лицо — унылое, с остриженными под гребенку волосами. Губы его искривились горькой улыбкой.

— Арестант! — произнес он валух, в каком-то бессилии опустился на край кровати и машинально стал обдирать обложку с шоколадной плитки.

С улицы доносился заунывный свист и вой разгулявшейся метели, стекла в оконной раме дрожали и дребезжали под хлопьями налетавшего на них снега.

"Заупокойная по мне! — думал про себя Пушкин и с каким-то ожесточением грыз шоколад. — И зачем это они еще кровать переставили? Кто их просил!.."

— Что же вы не ляжете, сударь! Аль по своим взгрустнулось? — послышался над головой его участливый голос.

— Ах, это ты, Леонтий! Оставь меня, пожалуйста...

— А то не обидел ли кто из товарищей? — продолжал допытываться дядька. — Не ушиблись ли, играючи?

— Нет, нет...

— Али, Боже упаси, не болит ли животик от непривычной кухни



нашей?

Пушкин слабо усмехнулся.

— Ничего не болит! Видишь, шоколад твой ем. А вот что скажи мне, Леонтий: зачем это ты распорядился переставить мою кровать к другой стене?

— Зачем-с? — И концы щетинистых, седых усов дядьки приподнялись и зашевелились от добродушно-лукавой улыбки. — Затем-с, что рядом тут в камере, бок о бок с вашей милостью, почивает закадычный друг и приятель ваш господин Пуцин.

— Я и забыл про него... Да что толку, если мы разделены стеной? Разговаривать ведь нельзя.

— То-то что можно-с наилучшим манером: стенка-то тончающая, всякое словечко сквозь нее слышно. Извольте примечать.

Он ударил кулаком в стену. Оттуда тотчас донесся такой же глухой стук и голос Пуцина:

— Это ты, Пушкин?

— Слышали-с? Ну и отводите душу с приятелем в душевных разговорах-с. Я вас, батюшка, беспокоить долее не буду, сейчас уйду-с; пожалуйста мне только вашу сбрую, чтобы утрушком, значит, спозаранку почистить, да где нужно — починить.

Получив «сбрую», заботливый дядька на прощанье осведомился еще, не натер ли себе "его благородие" мозолей казенными сапогами, наказал не забыть потушить свечку и запомнить, что приснится впервой на новом месте; затем пожелал доброй ночи и вышел.

От простодушной ли ласки старика солдата, или от сознания, что он, Пушкин, все же не один, потому что вот тут рядом, за стеной, на расстоянии менее аршина, спит любезный его Пуцин, у него на сердце разом удивительно полегчало. Ему было уже не до чтения: в жилах у него точно был налит свинец, глаза так и слипались.

Сняв щипцами нагар со свечки, он погасил ее, завернулся поплотнее в одеяло и с удовольствием уткнулся стриженной головой в обтянутую свежей наволочкой подушку. Завывавшая за окошком вьюга уже не сердила, не мучила его, а только убаюкивала. Но не успел еще он заснуть, как у самого его уха раздался опять стук в стену и голос Пуцина:

— Ты еще не заснул, Пушкин?

— Нет, — отвечал он, — а что?

— Слышишь, как ветер на улице воет?

— Ну?

— А в постели-то как тепло и уютно!

— Да; а главное, Пуцин, что мы с тобой здесь так близко друг к другу!

— Вот это-то я и хотел сказать. Знаешь что, Пушкин: хочешь, мы будем друзьями?

— Будем! И никогда, до последней минуты друг друга не выдадим. Друзья на жизнь и смерть!

— Аминь!

— А теперь о другом: тебе, Пуцин, спать, верно, тоже сильно хочется?

— Очень.

— А я наполовину уж заснул. Доброй ночи, друг мой!

— Приятных снов, дружище!

Как отрадно стало у него теперь на душе! Да, Куницын был прав, тысячу раз прав: здесь не тюрьма, а клетка, и именно золотая. Не запоет ли он теперь свои лучшие песни, не зальется ли соловьем?

И в сладостном предчувствии будущей славы поэта он незаметно задремал.

Немного погодя мимо камеры новичка проходил дядька Кемерский. Видя, что огня там уже нет, он припал к решетке ухом. Ровное дыхание показывало, что Пушкин спит крепким, здоровым сном молодости.

— Заснул! — прошептал про себя старик, набожно перекрестил спящего из-за решетки и побрел далее.

## Глава IX

### Открытие лица

*...Тебя мы долго ожидали,  
И светел ты сошел с таинственных вершин,  
И вынес нам свои скрижали.*

*"Гнедичу"*

*И мы пришли. И встретил нас Куницын  
Приветствием меж царственных гостей.*

*"Была пора: наш праздник молодой..."*

Вот, наконец, наступило 19 октября — давно ожидаемый день официального открытия лица. За ночь выпал свежий сухой снежок, к утру приморозило, и солнце вошло в полном лучезарном своем блеске, празднично озаряя все углы и уголки обширного лицейского здания и оживляя и без того весело настроенных лицеистов. Сегодня им ведь в первый раз разрешено было прифрантиться, надеть свою новенькую, с иголочки, парадную форму: белый пикейный жилет, однобортный синий мундир с красными обшлагами, красным воротником и серебряными пуговицами и — что эффектнее всего — высокие лакированные ботфорты! Одеваясь, они от внутренней радостной тревоги обменивались шутками, шумели, но шумели как-то сдержаннее, были и друг к другу как-то добрее, внимательнее, точно перед исповедью в "прощеный день".

— У всех ли шляпы с собой, господа? — спрашивал дежурный гувернер Чириков, оглядывая выстроившихся по два в ряд щеголевато разряженных лицеистов.

Оказалось, что Кюхельбекер по всегдашней рассеянности забыл свою треуголку. Дежурный дядька поспешил подать ему ее.

— И как вы держите ее? — говорил Чириков. — Берите пример с Горчакова: видите, как надо держать? Под мышкой и только кончиками пальцев. Стройся!

С гувернером во главе и в сопровождении дядьки лицеисты в стройном порядке спустились в третий этаж и аркою, соединявшею лицей с дворцом, вышли на хоры дворцовой церкви. Отсюда, с высоты, так сказать,

птичьего полета, все, что совершалось внизу, было им видно, как на ладони.

Благолепно убранная, но небольшая дворцовая церковь оказалась на этот раз довольно тесной для массы присутствующих. Приглашенные на торжество освящения небывалого дотоле учебного заведения высшие сановники: члены синода и государственного совета, сенаторы, министры и иностранные послы — стояли толпой в храме и, кланяясь друг другу, обмениваясь рукопожатиями, так и пестрели лентами, так и сияли шитыми золотом мундирами и звездами. У притвора в императорские покои, в ожидании выхода высочайшей фамилии, сгруппировались в шитых же мундирах директор, надзиратель, профессора и прочий служебный персонал лицея. А наружные двери, то и дело открываясь, впускали все новых лиц, увеличивая тем общую тесноту и пестроту. Косые лучи октябрьского солнца, проникая в церковь сквозь разноцветные стекла высоких окон, заливали нарядную публику красными и желтыми, синими и фиолетовыми лучами и вместе с мерцающим светом бесчисленных зажженных восковых свечей в хрустальных люстрах придавали всей этой необычайно торжественной обстановке какой-то обаятельно-фантастический оттенок.

Гувернер Чириков, успевший своею обходительностью в несколько дней приобрести доверие и расположение лицеистов, стоял позади них и вполголоса передавал им фамилии сановников. Пушкин, как и прочие товарищи наклонясь через перила, зорко оглядывал каждого незнакомца и мысленно дополнял все недосказанное. В то же время взор его безотчетно тянуло к тем дверям, откуда должен был сейчас войти император Александр Павлович, которого после разговора с профессором Куницыным ему так хотелось видеть.

И вот в начале 11-го часа у дверей этих произошло внезапное движение; все, кто стояли тут, как волны, отхлынули направо и налево, и на пороге показался он сам в сопровождении двух императриц: вдовствующей и царствующей, наследника престола Константина Павловича и великой княжны Анны Павловны.

В октябре 1811 года императору Александру I было без малого 34 года; [\[11\]](#) но с виду он казался гораздо моложе. Высокая и статная фигура его, несколько наклоненная вперед, невольно напомнила Пушкину классическую позу античных статуй. Редкие белокуро-золотистые волосы были причесаны по-античному и делали его высокий лоб еще более открытым. А в слегка прищуренных близоруких небесно-голубых глазах, в каждой черте художественно-правильного лица его отражалась такая ангельская доброта, такая кротость, что нельзя было не почувствовать

безграничного благоговения к его царственному величию. Очарованный Пушкин не мог отвести глаз от него.

"Так вот он каков!" — думалось ему, и в памяти его возникло одно за другим все, что сделано этим государем для своего народа. Ему сдавалось, что вся эта стоящая внизу толпа разряженной знати молится теперь только за него, за своего возлюбленного монарха.

Молебен кончился. Внизу опять все заколыхалось, чтобы пропустить духовенство, направлявшееся в здание лицея для освящения его.

— Здоров ли ты, Пушкин? — спросил заботливо Пуцин, заметив разгоряченное лицо и лихорадочно блестящие глаза друга.

— Здоров... — нехотя пробормотал тот в ответ и протиснулся вперед, чтобы избавиться от дальнейших расспросов.

Обойдя кругом все помещения лицея и окропив их водой, духовенство удалилось; остались одни светские власти. В большом лицейском конференц-зале был поставлен между колоннами стол, покрытый до полу красным сукном с золотой бахромой. Справа от него стали в три ряда лицеисты, с директором, надзирателем и гувернерами во главе; слева — профессора и чиновники лицейского управления. Для сановных гостей было отведено все остальное пространство зала, уставленное рядами кресел и стульев. Когда все разместились, вошла царская фамилия и, ответив на общий поклон приветливым наклоном головы, заняла первый ряд кресел. Министр, граф Разумовский, сел рядом с государем.

Первым выступил директор департамента народного просвещения Мартынов и взволнованным, неестественно высоким фальцетом прочел сперва манифест об учреждении лицея, а потом грамоту, всемилостивейше дарованную лицею. Граф Разумовский, приняв от него грамоту (пергаментный фолиант в богатом, золотого глазета переплете), поднес ее государю для подписи и затем передал директору лицея Малиновскому.

Пушкин, стоя в переднем ряду лицеистов, как раз позади Малиновского, заметил, как тот переминался с ноги на ногу, тяжело дышал и, тихонько откашливаясь, подносил к губам платок, а когда почтенный Василий Федорович, приняв от Разумовского грамоту и сам выступив вперед, развернул свиток приготовленной им приветственной речи, то побледнел, как полотно. Прерывающимся, едва слышным голосом прочел он свою речь, из которой более отчетливо можно было разобрать только заключительные слова:

— Мы потщимся каждую минуту жизни нашей, все силы и способности наши принести на пользу сего нового вертограда: да ваше величество и все отечество возрадуются о плодах его.

Все присутствующие, казалось, не менее самого Малиновского были рады, когда тот вздохнул после своей пытки и когда его сменил конференц-секретарь, профессор Кошанский. Тот прочел только список начальствующих лиц и воспитанников лицея, причем каждый из называемых поочередно выступал из ряда и кланялся государю.

Последним оратором за красным столом оказался профессор Куницын. Как ни любили его лицеисты, но, отстояв себе ноги в течение трех первых чтений, они не без основания ужасались ожидающих их еще цветов красноречия. У публики точно так же терпение истощилось, потому что все кругом задвигало стульями, стало сморкаться, перешептываться. Но вот зал огласился благозвучным голосом молодого профессора — и все насторожилось: можно было расслышать полет мухи.

В прочувствованной, но изукрашенной риторическими мудростями речи Куницына не все, быть может, было понятно отрокам-лицеистам, к которым, собственно, она была обращена, и потому впечатление от нее, на Пушкина по крайней мере, было не совсем цельное. Зато отдельные фразы, более доступные, глубоко отпечатлевались в душе Пушкина, и он мысленно повторял их про себя, пока поток речи струился неудержимо далее.

— Отечество приемлет на себя обязанность быть блюстителем воспитания вашего, дабы тем сильнее действовать на образование ваших нравов, — говорил Куницын, — государственный человек должен иметь обширные познания, знать первоначальные причины благоденствия и упадка государства...

"Ужели же и я тоже буду со временем государственным человеком? Буду в состоянии сделаться им?" — мелькнуло в голове Пушкина.

— Но главным основанием ваших познаний должна быть истинная добродетель, — продолжал профессор, — жалким образом обманется тот из вас, кто, опираясь на знаменитость своих предков, вознерадеет о добродетелях, увенчавших имена их бессмертием... Любовь к славе и отечеству должна быть вашим руководителем...

"Не в бровь, а прямо в глаз! — говорил сам себе Пушкин. — Я горжусь своими предками, — но по какому праву? Показал ли я себя уже достойным их?"

Речью Куницына заключился акт открытия лицея. Несмотря на ее продолжительность, она не только не утомила еще более слушателей, а точно освежила, наэлектризовала их, и все, казалось, сожалели, когда смолк молодой оратор. Государь сам подошел к нему и, пожимая ему руку, сказал несколько теплых благодарственных слов. Затем все тронулись обозревать

лицей, а лицеистов дежурный гувернер отвел в столовую — обедать.

Не покончили они еще и с супом (к которому, торжественного дня ради, были поданы и пирожки), как в дверях столовой появилась опять царская фамилия; впереди всех — сам император Александр с графом Разумовским. Подобно другим лицеистам, повернув голову ко входу, Пушкин невольно обратил внимание, что следовавшие за государем наследник цесаревич и адъютанты, как в походке, так и во всех движениях своих, старались подражать ему; даже шляпу и шпагу держали точно так же, прищуривались так же, как он.

Не останавливаясь у стола и не прерывая беседы своей с министром, государь отошел с ним к окошку. Цесаревич и великая княжна со свитой удалились в углубления других окон; обе же императрицы стали обходить обедающих лицеистов, предлагая им вопросы и отведывая их кушанья. Императрица-мать, Мария Федоровна, о которой Пушкин еще дома наслышался, как о главной покровительнице воспитательного дома и всех женских учебных заведений, остановилась как раз напротив него, по другую сторону стола, и он имел возможность внимательно разглядеть ее. Хотя ей было уже лет за 50, но тонкие черты ее правильного лица сохранили еще следы прежней красоты и живо напоминали ее царственного сына, тем более что, будучи так же близорука, она, подобно государю, часто подносила к глазам золотую лорнетку. Но вот она наклонилась над ближайшим лицеистом Корниловым и, когда тот хотел приподняться, оперлась рукой на его плечо. Как он, бедняга, съежился, покраснелся! А она так просто и милостиво проговорила:

— Сиди, пожалуйста. Ну, что, хорош суп?

Корнилов еще пуще смешался и, уткнув нос в тарелку, пробормотал по-французски:

— Oui, Monsieur!

Государыня ничего не сказала, только чуть-чуть улыбнулась и отошла прочь от обеденного стола. Соседям-лицеистам стоило немалого труда воздержаться от подтрунивания над отличившимся так товарищем. Но пока августейшие гости не оставили столовой, шалуны поневоле только перемигивались и фыркали. Зато, по уходе гостей, насмешкам не было уже конца.

Когда затем, при наступлении вечерних сумерек, здание лицея осветилось блестящею (для того времени) иллюминациею: плоскими панелями и окнам и громадным, разноцветным вензелем Александра I в срединной арке, — лицеисты все высыпали на улицу; забияка Пушкин сгреб ком свежесвыпавшего снега и швырнул его в спину Корнилова с

знаменитой фразой последнего:

— Oui, Monsieur!

Раззадоренный Корнилов не остался в долгу и с криком: "Ай, Француз!" так метко пустил в обидчика ответный заряд снега, что Пушкин схватился за щеку. Как по данному сигналу снеговые ядра полетели теперь со всех сторон в кого попало с теми же двумя боевыми кликами: "Oui, Monsieur!" и "Ай, Француз!".

Внимание столпившихся перед иллюминированным зданием зевак обратилось всецело на разыгравшуюся молодежь. А тут кто-то из сражающихся, чуть ли не Гурьев, коварно подставил еще сзади ножку великану Кюхельбекеру. Тот, как сноп, растянулся на снегу во весь рост, и снежные заряды ни с того ни с сего, вопреки поговорке "лежащего не бьют", так и посыпались на безоружного. Зрители-горожане кругом громко загоготали:

— Ай да баричи! Лихо! Хорошенько его!

Дальнейшее побиение злосчастного Кюхельбекера было приостановлено появлением губернатора Чирикова, который, пристыдив сперва шалунов, объявил им затем:

— А у меня, господа, есть очень лестная для всех нас новость.

— Новость? Какая новость, Сергей Гаврилович? — приступили к нему гурьбой лицеисты.

— Вы знаете, конечно, что как военным за их воинские подвиги дается Георгиевский крест, точно так же нам, штатским, за гражданские заслуги жалуются орден Св. Владимира. Так вот Его Величество пожаловал сегодня Владимира 4-й степени, в знак особого своего благоволения, профессору вашему, Александру Петровичу Куницыну.

— Ура! — крикнул Пушкин.

— Ура!! — подхватили остальные 29 человек лицеистов, а за ними тот же возглас перекатился и по всей окружающей толпе, хорошенько, вероятно, не разобравшей в чем дело, но невольно заразившейся восторженностью молодежи.

Несколько дней спустя лицеисты узнали, что тот же орден Владимира, но 1-й степени, был пожалован и министру, графу Разумовскому, за его труды по учреждению лицея. За Корниловым же навсегда остался между лицеистами титул Monsieur, пожалованный ему ими тогда же, в незабвенный день открытия лицея.



## Глава X

### Колесо завертелось

*Пора, пора! Рога трубят,  
Псаря в охотничьих уборах  
Чем свет уж на конях сидят,  
Борзые прыгают на сворах.*

*"Граф Нулин"*

— Ну, батюшка, ваше благородие, вставайте! Пора и честь знать. Ей-Богу же, опоздаете в классы.

Говоря так, старший дядька Леонтий Кемерский ровно в 6 часов утра, в понедельник, 26 октября — в первый день правильных классных занятий во вновь открытом лицее — деликатно тормозил Пушкина. Тот в ответ бессвязно проворчал только что-то под нос себе и зарылся глубже в подушку. Бывалый дядька с долготерпением старой няньки и с настойчивостью старого служаки стал осторожно стаскивать с плеч его одеяло.

— Отстань, Леонтий, сделай милость, отстань! — не то сердито, не то умоляя, буркнул Пушкин и, накрывшись с головой одеялом, повернулся к стене.

Отделаться от Леонтия, однако, было не так-то легко.

— Задохнетесь, сударь, — говорил он, бережно раскрывая голову мальчика и поднося к глазам его горящую свечу. — Извольте видеть: уж солнышко в окошко светит!

Пушкин, щурясь от огня, в сердцах оттолкнул свечу рукой.

— Что за шутки, Леонтий!

— Какие шутки, ваше благородие? Вглядитесь только хорошенько: солнышко как быть должно — казенное-с.

— Ну, да, казенное! Скажи, пожалуйста, что тебе вздумалось мучить меня? Мне снился такой чудный сон...

— Не до снов-с, голубчик вы мой. Доселева уроков не было — ну и дрыхли себе на здоровье, сколько хотелось. А теперича — шалишь! Прочие товарищи ваши давно поднялись. Вона, слышите, чай, гам какой в коридоре? Что твой жидовский шабаш. А вон, чу, и второй уж звонок

Живо, сударь, живо! Вот извольте получить носки-с...

Пушкину стало стыдно.

— Оставь... я уж сам... — проговорил он, потягиваясь, и, зевая во весь рот, начал одеваться.

Когда он, без сюртука, с полотенцем в руке, вышел в коридор, чтоб умыться, во всех арках там горели еще ночники, при колыхающемся свете которых взад и вперед шныряли белыми привидениями, с неумолкаемым говором и смехом, такие же полуодетые фигуры.

— А, Пушкин! Проснулся, наконец? — крикнул ему кто-то на бегу и промелькнул как тень.

— Здравствуй, Пушкин! — приветствовал его чей-то другой голос.

— Здравствуй, — отвечал он, не узнав ни того, ни другого, и направился к одному из двух больших умывальников, вделанных для общего употребления в стену по обоим концам коридора. Здесь кто-то уже стоял, наклонясь над тазом, и только что подставил обе руки под струю воды, чтобы умыть себе лицо, как Пушкин без церемоний оттолкнул умывавшегося в сторону: "Пусти! Будет с тебя!" — и, живо вымывшись, в заключение плеснул товарищу в физиономию целую горсть воды.

Тот хоть бы слово вымолвил на эту выходку и только обтерся полотенцем. Пушкина удивила такая кротость; он начал всматриваться: на него задумчиво глядели большие, выпуклые, очевидно, близорукие глаза.

— Это ты, Дельвиг? — проговорил он, невольно сконфузясь. — Ты снял очки — так тебя и не узнать.

— А я льва по когтям тотчас узнал, — был дружелюбно-шутливый ответ.

— Так почему же и ты не плеснул в меня водой?

— Потому, что со львом — шутки плохи.

— Господа! Господа! Не болтать! Пора в классы! — заторопил появившийся тут гувернер, и мальчики разбежались по своим нумерам.

Учебное колесо завертелось, завертелось на целые шесть лет. Хотя лицейцам и было объявлено перед началом курса, что на летние и зимние вакации их будут увольнять к родным, но вскоре вышло новое распоряжение министра — не выпускать их из стен заведения до окончания полного курса. Понятно, что такой запрет произвел на них подавляющее впечатление. Но так как, волей-неволей, надо было покориться, то они тем скорее и теснее сплотились между собой и с профессорами в одну общую школьную семью.

Профессора (за исключением только одного, уже известного читателям старичка-француза) были все люди молодые, не достигшие еще и 30 лет.

Трое из них: Куницын, читавший "нравственные науки" (логику, психологию, естественное и другие права, политическую экономию и "финансы"), Кайданов, преподававший исторические науки (историю, географию и статистику), и Карцов, математик и физик, — были товарищами по педагогическому институту и, как лучшие три воспитанника, были посланы за границу на казенный счет для приготовления к профессорскому званию, а по возвращении оттуда были прямо приглашены на три кафедры во вновь учрежденный лицей. С благородным рвением принялись они, каждый по своей части, за духовное развитие порученных им 30-ти будущих "государственных людей"; но наиболее глубокое и благотворное влияние на лицеистов имел, несомненно, Куницын, который и вне класса в оживленных беседах старался усвоить им свой собственный возвышенно-нравственный взгляд на жизнь. Долго спустя, по выходе из лицея, бывшие ученики его вспоминали о нем с искреннею благодарностью, которая в 1825 году выразилась у Пушкина в следующих стихах:

Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень.  
Поставлен им краеугольный камень,  
Им чистая лампада возжена...

Что же касается лицейской Музы, имевшей такое решительное значение в последующем развитии Пушкинского гения, то первое пробуждение ее должно быть отнесено всецело к заслугам профессора латинской и русской словесности Кошанского. Страстный любитель древней классической поэзии, талантливый переводчик многих классических произведений, Кошанский с увлечением молодости старался втянуть и своих юных слушателей в этот отошедший уже в вечность, но все еще чарующий мир. А на уроках русского языка, рядом с заучиванием од Ломоносова и Державина, басен Хемницера и Крылова, он посвящал мальчуганов и практически в тайны стихосложения. (О результатах этих первых поэтических опытов будет подробно изложено в последующих главах.)

Словесности, как русской, так, в особенности, иностранной, вообще было отведено в учебном курсе лицеистов первенствующее место. Ежедневно не менее четырех часов профессора иностранных языков: немецкого — Гауеншильд и французского — де Будри, по примеру

Кошанского, упражняли воспитанников сверх обычных классных работ в декламации и чтении вслух театральных пьес по ролям, а в свободные часы обязывали их говорить между собой то по-немецки, то по-французски. Успехи лицеистов в том и другом языке были, однако, далеко не одинаковы.

Немец Гауеншильд, при всей своей научной подготовке и несмотря на свои молодые лета, не сумел заслужить любовь своих учеников, потому что, нервно-раздражительный и довольно черствый душой, он относился к ним с холодным пренебрежением, а нередко был и несправедлив. Они же свою антипатию к преподавателю перенесли и на самый предмет, так что серьезно заниматься немецким языком почиталось у них чуть ли не позором.

Зато старичок-француз, мосье де Будри, или просто Давид Иванович, как называли его лицеисты даже во французском разговоре, был для них после Куницына самым милым человеком. Приземистый и круглый, как шар, в напудренном парике времен Людовика XVI, в замасленном пестром жилете, с неразлучною черепаховою табакеркой и красным фуляром в руках, — он, по подвижности и энергии, не уступал никому из своих молодых собратий, а с воспитанниками обходился как с любимыми своими детьми. Поэтому и мальчики, со своей стороны, где бы он им ни попался — в коридоре, в классе или в парке, — приветствовали его весело и непринужденно, как старшего близкого знакомого, на родном его языке:

— Здравствуйте, Давид Иваныч! Как ваше драгоценное здоровье?

— Благодарю вас, дети мои, слава Богу! — с неизменным добродушием отвечал он, спасая только свою дорогую табакерку от напиравших на него шалунов.

Дорожил он ею собственно потому, что на крышке ее красовался портрет прославившегося во французской истории своею кровожадностью Марата, приходившегося ему родным братом. Немудрено, что эта табакерка сделалась неистощимою темой для болтовни на французских уроках, причем запевалой являлся всегда Пушкин, который с самого приемного экзамена пользовался предпочтительным расположением де Будри. За обеденным столом лицеистов рассаживали по поведению, в классе — по отметкам; и хотя Пушкин, вообще не отличавшийся прилежанием, сидел обыкновенно где-нибудь назади, но на урок у французца, как один из первых, пересаживался на переднюю скамейку. Завязав с профессором оживленный разговор, он незаметно похищал у него табакерку, которая тут же переходила по всем скамьям, или же заводил речь о табакерке, чтобы прямо заполучить ее из собственных рук де Будри.

— А позвольте-ка еще раз взглянуть на вашего знаменитого братца, —

приступал он, бывало, к профессору и без дальних околичностей отбирал у него табакерку. — Вон ведь какой молодец из себя и совсем не страшный на вид! Как это его угораздило тогда?.. Ах, расскажите, пожалуйста, мосье, как это было?

— Да я уж не раз говорил вам...

— Ну, пожалуйста, дорогой Давид Иванович, расскажите еще раз! — подхватывал хором весь класс.

И Давид Иванович, не совсем довольный, но тем не менее с необыкновенным одушевлением повествовал опять о кровавых деяниях своего покойного брата.

— Так не потому ли вы и фамилию-то свою переменили? — спрашивал Пушкин.

— Воля государя императора! — отвечал Марат де Будри, возводя очи к потолку с выражением покорности судьбе.

А табакерка с кровопийцей Маратом между тем гуляла уже по скамьям из рук в руки, и вдруг все 30 школьников зараз раздражались неумолкаемым чиханьем и взаимными пожеланиями:

— Будь здоров!

— А тебе сто годов, нажить сто коров, лошадей табун, самому карачун!

— Брысь под печку!

Тут добряк француз уж начинал терять терпение и говорил:

— Но ведь вы, друзья мои, весь табак у меня вынюхаете!

— А мы вам нового купим, — утешал Пушкин. — Господа! Сделаемте складчину и купим мосье куль табаку!

— Купим! Завтра же купим! — весело соглашались остальные шалуны.

— Ну, будет, милые мои, довольно, натешились! — серьезно останавливал их почтенный старичок и приступал к уроку, не допуская затем уже никаких шуток.

За эту его незлобивость и обходительность, а еще более за его многосторонние познания и житейскую опытность лицеисты скоро привыкли не только любить, но и уважать своего француза. У него был дар в простой дружеской беседе передавать воспитанникам всевозможные научно-практические сведения, собранные им в течение своей продолжительной и довольно бурной жизни. Так, благодаря ему, лицеисты не только стали вскоре бойко объясняться по-французски, но даже приобрели более широкий и более ясный взгляд на жизнь. Де Будри и Куницын шли как бы об руку в деле их развития: тот носился с ними в

заоблачных высях "нравственных наук", а де Будри любовно и бережно спускал их опять на твердую житейскую почву.

Если, таким образом, было сделано все, что возможно, для правильного умственного роста лицеистов, то не менее было приложено забот и к телесному их развитию. Обед их состоял из трех сытных, ужин — из двух легких блюд. В праздники прибавлялось еще четвертое блюдо. Повар лицейский, в первые, по крайней мере, годы, был мастер своего дела; даже такие заурядные кушанья, как щи да каша, в его образцовом приготовлении представлялись лицеистам чуть ли не верхом кулинарного искусства.

С понедельника в столовой вывешивалось уже расписание блюд (меню) на целую неделю, так что мальчики могли наперед меняться между собой порциями любимых каждым из них кушаний. Развитию в них аппетита не мало также способствовали чередовавшиеся с классными их занятиями комнатные игры и прогулки на воздухе, которые, кстати заметить, никогда — даже и в дурную погоду — не отменялись: после утренней молитвы и стакана чаю с крупитчатой булкой воспитанники, просидев с 7-ми до 9-ти часов в классе, отправлялись гулять. Возвратившись к 10-ти часам домой, они до 12-ти отсиживали опять за уроками, потом до 2-х часов совершали вторую прогулку, обедали, а после обеда резвились в рекреационном зале. С 2-х до 3-х часов они как бы отдыхали от моциона, занимаясь только чистописанием или рисованием, после чего, до 5-ти часов, шли опять научные уроки. Этим заканчивалась их обязательная классная работа. В 5 часов, напившись снова чаю с полубулкой, они шли гулять в третий раз; затем должны были готовить уроки к следующему дню. В половине 9-го звонок сзывал их к ужину, после которого, вплоть до 10-ти часов, им предоставлялось делать что угодно: читать, играть или болтать. День как начинался, так и заканчивался общей молитвой. Разойдясь по своим дортуарам, донельзя усталые от учения и шалостей, мальчуганы засыпали тотчас, как убитые. А завтра опять то же и в том же порядке.

Да, это было своего рода сложное машинное колесо, которое только благодаря постоянной, аккуратной смазке и приставленным к нему опытным механикам могло вращаться изо дня в день, из года в год, без запинки. Кто мог предвидеть те сцепления.

## Глава XI

### Первая "проба пера"

*Ну, женские и мужские слоги!  
Благословясь, попробуем: слушай!  
Равняйтесь, вытягивайте ноги  
И по три в ряд в октаву заезжай!  
Не бойтесь, мы не будем слишком строги...*

*"Домик в Коломне"*

Однажды, в самом начале еще учебного курса, послеобеденный урок российской словесности у профессора Кошанского окончился минут за 20 до звонка. Профессор, довольный удачными ответами учеников, сошел с кафедры и, с лукавой улыбочкой потирая руки, объявил им:

— Ну-с, государи мои, на сих днях еще заставил я вас в особину занотовать себе стишок великого нашего Гаврилы Романовича:[\[12\]](#)

*Всем смертным славолюбье сродно,  
Различен путь лишь и предмет:  
И в бочке циник благородно  
Велел царю не тмить свой свет.*

А ведомо ли вам, что имел я сим в предмете? Навести вас на то, в чем всякому истинному любителю изящных письмен надлежит полагать высшее свое удовольствие. Доселе версификацию познали вы лишь по образцам и примерам. Для вящего вашего в ней усовершенствования не угодно ли вам теперь самим оседлать парнасского коня, проще сказать — испробовать ваши перья?

— Нам стихи писать, Николай Федорыч? — озадаченно переглядываясь, спрашивали лицеисты.

— А вы думаете, Державин не был разве таким же мальчишкой, да еще и моложе вас? Вы же имеете перед ним тот великий шанс, что его зрелая Муза может служить вам неистощимым кладезем для почерпнутия потребных вдохновению вашему материй.

— Да никто из нас никогда еще не писал стихов...

— Я писал! — отозвался тут неожиданно один из лицеистов, Илличевский.

Илличевский этот, сын томского губернатора, воспитывался до лицея в единственной в то время петербургской гимназии (ныне 2-й, что на Казанской). Пример губернатора-отца и прирожденная сметливость развили в нем раннюю самостоятельность, а артистические наклонности еще в гимназии побуждали его испытывать свои силы во всех искусствах. Попав в лицей, он разом выдвинулся между лицеистами как хороший чтец, рисовальщик, заправила всяких школьных игр. А теперь вдруг он оказывался еще и поэтом!

Соревнование с ним подзадорило тотчас две другие поэтические натуры.

— И я тоже пописывал стихи, хотя пока одни французские, — заявил Пушкин.

— А я немецкие! — подхватил Кюхельбекер.

— Ну, уж не ври, пожалуйста, — вмешался Гурьев, — верно, чухонские?

— Я вас, Гурьев, сию минуту выпровожу вон, — строго заметил профессор. — А вы, Кюхельбекер, на зубоскальство его и дурачество не обращайтесь внимания. Буде в вас точно горит священный пламень, таковой превозможет и трудности чуждого вам русского языка. Благо, представляется вам к тому вожденный случай. Итак, господа, на первый раз опишите мне стихами предмет общеизвестный — цветок розу.

Писание началось, перья закрипели. Но первые стихи приходились лицеистам куда солоны. Скрипели перья не столько от сочиняемых, сколько от зачеркиваемых строк, и скрип их прерывался только вздохами и перешептыванием совещающихся между собой писак. Кошанский, заложив за спину руки, ходил взад и вперед между скамьями, оглядывая пишущих направо и налево с самодовольно-снисходительной улыбкой.

— Что же, други милые, не осеняет свыше? И вы, Илличевский, даром, я вижу, похвалились?

— По заказу, Николай Федорыч, никак невозможно, — отговорился тот, почесывая себе переносицу бородкой пера.

— А я готов! — объявил Пушкин, вскакывая с места.

— Готовы-с? На французском диалекте-с?

— Нет, по-русски.

— Скоренько, сударь мой. Есть у нас пословица русская: "Скоро, да не споро". Ну что же-с, послушаем ваше произведенье. Прочитайте-ка вслух: заслужит одобрения — порукоплещем, не заслужит — головы не



снимем с плеч. Повесьте, господа, уши ваши на гвоздь внимания! — как прекрасно сказано неким древним мудрецом.

Зараженные насмешливостью профессора, лицеисты заранее уже пофыркивали. Казалось, Пушкину стоит только рот раскрыть, как слова его будут заглушены громогласным хохотом. Покраснев и сердито косясь на соседей, Пушкин с чувством прочел следующее:

Где наша роза,  
Друзья мои?  
Увяла роза,  
Дитя зари.  
Не говори:  
Так вянет младость!  
Не говори:  
Вот жизни радость!  
Цветку скажи:  
Прости, жалею!  
И на лилею  
Нам укажи.

Что случилось с шалунами-слушателями? Отчего же никто из них не хохочет, отчего усмешка у каждого так и застыла на губах?

Дельвиг, всегда такой безучастный, холодный, первый выразил свое одобрение:

— А ей-Богу, премило!

Он, видимо, выразил общее впечатление, потому что с ним сейчас же согласились и другие:

— И то, очень даже недурно. Ай да Француз!

Все взоры обратились на профессора, в ожидании, что он скажет. Но тот, насупясь, промычал только "гм..." и взял из рук Пушкина его тетрадь. Вполголоса перечтя стихи вторично, он пристально посмотрел на маленького автора.

— Скажите-ка по чистой совести, Пушкин: у кого это вы позаимствовали?

Пушкин так и вспыхнул.

— Я, господин профессор, не стал бы выдавать чужих стихов за свои!

— Не распаяйтесь, любезнейший. Амбиция здесь не у места. Я спросил только потому... потому что... Гм... Гм...

И Кошанский, в такт кивая головой, принялся перечитывать стихи в третий раз.

— Нет у вас еще подобающей выпренности, да и идея не совсем вытанцовалась, — наконец высказался он, — но для первого дебюта стишки, право, хоть куда. Однако, дабы вы не слишком о себе возмечтали, я возьму их с собой.

Он вырвал страницу из тетради и, сложив ее вчетверо, опустил в боковой карман.

— Когда-нибудь, быть может — как знать?.. вы станете нашим "великим национальным поэтом", — добавил он, добродушно усмехаясь, — тогда я сочту долгом преподнести вам на серебряной тарелочке любопытства ради сей первобытный ваш поэтический лепет.

Раздавшийся из коридора звонок прервал на этот раз дальнейшие упражнения в стихотворстве. Зато толки по поводу их теперь только разгорелись; едва лишь Кошанский скрылся за дверью, как вся орава маленьких стихотворцев обступила Пушкина и со смехом принялась поздравлять его как будущего "великого национального поэта".

— Дай приложиться к тебе, душоночек ты мой! Дай набраться от тебя этого «выспренного» духа! — с притворной нежностью говорил Гурьев и полез уже целоваться.

Пушкин грубо оттолкнул его.

— Терпеть не могу лизаться!

Тот показал вид, будто не обиделся, и даже сейчас предложил:

— Ну, так покачаемте его, братцы!

И не успел Пушкин очнуться, как, подхваченный разом десятками рук с криками "ура!", очутился уже в воздухе.

— Ты, Гурьев, право, хоть кого выведешь из терпения! — заметил он, когда наконец стал опять на ноги.

— Да ведь я только за ноженьку твою подержался, только за самый кончик сапога! — отшутился Гурьев.

— А ну его! — сказал Пушкину Дельвиг и насильно увел его с собой. — У меня, знаешь ли, есть до тебя большая просьба...

— Что такое?

— Продиктуй мне, сделай милость, свою "Розу".

— Ты, Дельвиг, туда же, насмехаться вздумал надо мной?

— Нет, честное благородное слово, стихи твои мне так понравились, что я хотел бы хорошенько раз-другой еще перечесть их.

— Ты, значит, тоже охотник до стихов?

— Страстно люблю их, и сам даже...

— Сам даже пишешь?

— Да, грешен...

А кравшийся следом за ними Гурьев уже подслушал их и громко захлопал в ладоши:

— Ха-ха-ха! хи-хи-хи!

И наш Дельвиг пишет стихи!

Ай да я! Недаром, видно, за сапог подержался. Этак, чего доброго, скоро у нас пол-лица попадет на Парнас. Так ведь, кажется, Пушкин, прозывается наша будущая квартира?

Гурьев не подозревал, конечно, что шутливое предсказание его вполне сбудется. Стихотворные или, по выражению Гурьева, «смехотворные» уроки Кошанского с тех пор регулярно повторялись, и чем далее, тем глаже и звучнее выходили стихи, особенно у Пушкина. Но так как Кошанский придавал в стихах наибольшее значение «выспренности», и так как Илличевский в этом отношении довольно удачно подражал Державину, то ему, Илличевскому, профессор долгое время отдавал предпочтение даже перед Пушкиным, стихи которого, по мнению Кошанского, были чересчур «легки». Впрочем, для обоих поэтиков стихотворство было пока еще простою забавой, "игрою в рифмы"; в погоне за первенством в этой игре они взялись раз, уже вне класса, сочинить каждый по рыцарской балладе (в ту пору баллады Жуковского вошли только что в моду). Но задача оказалась им еще не по силам, и ни тот, ни другой не довел своей баллады до конца.

Зато в стихотворных насмешках над товарищами и воспитателями неопытная, но шаловливая Муза их принесла в первое же время обильные, хотя и далеко незрелые плоды. Так, с особенным увлечением все лицеисты распевали сочиненный общими силами на известный современный мотив длинейший романс, в котором чуть ли не каждому обитателю лица было отведено по куплету. Новые куплеты появлялись нежданно-негаданно, как грибы после дождя, вслед за обстоятельствами, вызвавшими их, и тут же в компании дополнялись, закруглялись, так что доискаться первоначального автора их затруднились бы и сами лицеисты.

Раз профессор математики Карцов изловил Пушкина во время урока за чтением посторонней книги и выпроводил его из класса. И вот, на следующее же утро, это великое событие увековечилось новым куплетом:

А что читает Пушкин? —

Подайте-ка сюды!

Ступай из класса с Богом,

Назад не приходи.

В другой раз заучиваемые лицеистами вдолбежку правила ненавистной им немецкой грамматики и плохой выговор столь же нелюбимого преподавателя, Гауеншильда, послужили благодарною темой для следующей стихотворной нелепицы:

Скажите мне шастаны,  
Как, например: wenn so,  
Je weniger und desto —  
Die Sonne scheint also.

Ознакомить с этим перлом лицейской Музы самого Гауеншильда озаботился бедовый Гурьев, который, не сочинив сам на своем веку ни одной строки (кроме разве вышеприведенного двустишия на Дельвига), не обладая ни малейшим музыкальным слухом, то и дело мурлыкал, однако, про себя наиболее зазорные стихи, особенно в присутствии того именно лица, которого они касались. К Гауеншильду он даже прямо подъехал с вопросом:

— А слышали вы, господин профессор, новый романс великого земляка вашего Шиллера?

— Какой романс? — недоумевая, переспросил тот.

— О, прелесть, я вам доложу! Послушайте!

И, по обыкновению фальшивя, школьник с одушевлением пропел вышеприведенный полунемецкий "романс".

— Как вы смеете!.. — напустился на него немец.

— А разве это не Шиллера? — с самой наивной миной выразил удивление Гурьев. — Как же Кюхельбекер клялся мне всеми германскими богами? Эй, Вильгельм Карлыч, пожалуй-ка сюда на расправу!

Гурьев, как всем было известно, пользовался особенным благоволением надзирателя Пилецкого, которого он успел окрутить кругом своим притворным смирением и заискивающей услужливостью. Поэтому Гауеншильд, пожав плечами, ограничился только тем, что обещал сбавить озорнику два балла в поведении, но предупредил, что если услышит хоть раз еще Шиллеров романс, то виновному уже несдобровать. Вскоре ему, действительно, пришлось привести в исполнение угрозу; но ловкий Гурьев, как всегда, отвел удар с своей больной головы на чужую, здоровую. Он побился об заклад с Пушкиным на чайную булку, что тот не посмеет при

Гауеншильде пропеть знаменитой песни. Подзадоренный Пушкин на следующем же уроке немецкого языка затянул ее вполголоса. Гауеншильд, как ужаленный, вскочил с кресла и окинул мальчиков с кафедры грозным взглядом.

— Это кто? Опять вы, Гурьев?

— Нет, не я.

— Конечно, вы. Нынче же вы будете на черной доске!

— Вот вам Христос, г-н профессор, не я! — уверял Гурьев, крестясь, причем в голосе его слышались слезы. — Если на то пошло, то я могу даже сказать — кто.

— Фискал! — презрительно заметил Пушкин и поднялся с места. — Это я, г-н профессор.

— Я так и знал: либо Гурьев, либо вы! Значит, на черной доске будете вы, а теперь убирайтесь-ка оба вы с Гурьевым вон из класса!

— Изыдите, изыдите, нечестивые! — хором загорланил весь класс.

Профессор в отчаянии замахал руками и оставил всех без третьего блюда, а имя Пушкина в тот же день было написано крупными буквами на так называемой "черной доске".

Все наказания лицеистов делились на четыре степени: первую, легчайшую, считалось отделение провинившегося за особый, «черный» стол в классе; вторую — черная доска; третья — заключалась в оставлении на хлебе и воде не более двух дней; наконец, четвертая — в "уединенном заключении", т. е. в карцере.

С этим последним наказанием довелось ознакомиться на деле и Пушкину вместе с пятью другими лицеистами на второй же месяц пребывания их в лицее, и вот по какому случаю.

## Глава XII

### Штрафной билет

*Златые дни! Уроки и забавы,  
И черный стол, и бунты вечеров...*

*"19 октября"*

*Занес же вражий дух меня  
На распроклятую квартиру!*

*"Гусар"*

В свободное от классных занятий время лицеисты, как уже было упомянуто, обязаны были говорить между собой на одном из иностранных языков. Но как было заставить их исполнять это и тогда, когда никого из начальства не было поблизости?

Разрешить такую мудреную задачу удалось, по-видимому, все тому же профессору Гауеншильду, а надзиратель Пилецкий успел склонить и директора Малиновского испробовать предложенную меру. Состояла она в том, что одному из воспитанников вручался штрафной билет, который он должен был передать товарищу, избличенному им в разговоре по-русски; этот, в свою очередь, тем же порядком должен быть сбить билет третьему, третий — четвертому и т. д., пока билет не обойдет всех нарушителей запрета. Последний, у кого под конец дня оказывался билет, в искупление общей вины подвергался определенному наказанию.

Мера эта, однако, не всегда достигала цели. Иной раз билет к вечеру пропадал бесследно, и отыскать виновного в пропаже было положительно невозможно. Тогда оставалось одно — привлечь к ответственности весь класс, лишив его, например, сладкого блюда. Но в этих случаях наказанных выручал всегда с избытком провиантмейстер Леонтий Кемерский, который приносил взамен недополученного казенного слоеного пирожка или клюквенного киселя (разумеется, за соответствующее денежное вознаграждение) какое-нибудь другое лакомство.

Но чаще случалось, что штрафной билет оставался преспокойно вплоть до вечернего чая в кармане того, кому он был дан поутру. Зато после чая и после третьей прогулки между школьниками начиналась настоящая

травля: билет в несколько минут переходил десятки рук и в конце концов подсовывался тайком к какому-нибудь зеваке или перед самым ужином прищипливался булавкой на спину неизменного козла отпущения — Кюхельбекера. Когда же тот по хохоту окружающих догадывался в чем дело и, отцепив своими длинными руками билет от спины, передавал его одному из тех, кто говорил в эту минуту по-русски, то все наотрез отказывались принять его.

— Нет, брат Кюхля, шалишь! Но, чур, ни гугу, не фискалить!

И добросовестный Кюхля, ворча только что-то себе под нос по-немецки, покорялся своей неизбежной участи.

Однажды, в день «французский», билет был вручен поутру «французу» Пушкину. Каково же было удивление надзирателя Пилецкого, когда, на вопрос его за ужином: у кого билет, — тот оказался у Пушкина.

— Это решительно загадка для меня! — сказал, разводя руками, Пилецкий. — Ведь вы, Пушкин, болтаете по-французски чуть ли не лучше, чем на родном языке?

— Да он, Мартын Степаныч, никому и не передавал билета! — смеясь, разрешил загадку Гурьев.

— Что?! Не передавал? Правда это?

— Правда, — подтвердил Пушкин.

— Это что значит? Или вы никого не успели уличить в русской речи?

— Не то что не успел, но не считал нужным.

— Как? Повторите!

— Очень просто — забыл про билет, Мартын Степаныч, — выступил теперь уже на защиту приятеля Гурьев.

— У вас, Гурьев, я знаю, сердце мягкое, как вот этот бобер, — похвалил любимца своего Пилецкий, ласково проводя рукой по коротко стриженным шелковистым его волосам. — Пушкин же при всей своей строптивости имеет одно хорошее качество: он прямодушен, не умеет лукавить. Поэтому я уверен, он сам сейчас признается, точно ли забыл про билет или нарочно оставил его у себя.

— Нарочно, сознаюсь! — коротко отрезал Пушкин.

Тонкие губы надзирателя сложились в знакомую уже лицеистам, не обещавшую ничего доброго улыбку, в маслянистых глазах его загорелся зловещий огонек, а резкий голос его принял неестественную нежность.

— Вы, миленький мой, стало быть, нарочно не исполняете возложенной на вас начальством обязанности? — спросил он.

— Если обязанность моя — быть Иудой — предателем товарищей, то я не в состоянии исполнять ее! — был гордый ответ.

— Bravo, Пушкин! — раздалось тут с другого конца стола.

Пилецкий круто обернулся: то был Пуштин.

— Прокофьев! — холодно крикнул он дежурного дядьку. — Этих двух молодцов ты сейчас же отведешь на сутки в карцер.

— Слушаю-с, ваше высокоблагородие, — отвечал дядька. — А ужина нельзя им докушать-с?

— "Сейчас", сказано тебе. Не слышал, что ли? А вы, голубчики мои, перестаньте-ка кушать. Прокофьев уже доставит вам ваш заслуженный десерт: хлебца краюху да ключевой водицы.

Два приятеля, обменявшись дружелюбным взглядом, молча встали из-за стола, чтобы следовать за ожидающим их Прокофьевым. Но тут совсем неожиданно поднялся также один из самых скромных и послушных лицейстов, барон Дельвиг, и почтительно, как всегда, обратился к надзирателю с просьбой:

— Я, Мартын Степаныч, одного с ними мнения на этот счет, так позвольте уж и мне идти с ними.

Мартын Степанович был видимо поражен. Как поступить с маленьким наивным бароном, который, собственно, ни в чем ведь не провинился? Помолчав немного, он заговорил наставительно и кротко:

— Вы, милейший барон, при малых успехах в науках отличались до сих пор примерным благонравием, и нет никакого сомнения, что теперь вы повинуетесь только внушению вашего доброго сердца...

— "О, дружба, это ты!" — вмешался опять Гурьев. — Ведь они, Мартын Степаныч, оба — поэты, их и водой не разольешь.

Пилецкий потрепал шутника по пухлой щеке.

— Адъютантик мой! — и с вызывающей усмешкой оглядел затем весь стол. — Может быть, между вами, господа, найдутся и другие поэты?

— Да вот Кюхельбекер, — отрапортовал адъютант.

— Да, и я поэт! — не отрекся тот.

— И желали бы тоже посидеть на хлебе и водице?

Гурьев от удовольствия даже заржал:

— Униженно вас просит! Что, брат Вильгельм, влопался как кур во щи?

— Экая ведь дрянь этот Гурьев! — подал теперь голос и Илличевский. — Предлагаю, господа, не говорить с ним до будущей недели.

— Это уж заговор какой-то! — воскликнул надзиратель. — Вы, Илличевский, также отправитесь в карцер.

Илличевский со сдержанной улыбкой отвесил поклон.



— Как прикажете. Вот Корсаков тоже просится в компанию с нами.

Пилецкий от изумления даже рот разинул и остолбенел. Если Пушкин и Дельвиг примкнули к Пушкину по какому-то ребяческому влечению; если Кюхельбекер «влопался» по оплошности, то два последних заговорщика, очевидно, заразились только сию минуту заносчивостью Пушкина, потому что Илличевский до сих пор почитался образцом послушания и вежливости, а Корсаков, кроткий и робкий, и воды никогда не замутил.

Неизвестно, чем бы разразился справедливый гнев Пилецкого, если бы в эту минуту к столу не подошел сам директор лицея Малиновский, который с порога столовой уже несколько времени безмолвно следил за описанною сейчас сценой.

— Вы, Корсаков, кажется, так же, как и Илличевский, пишете стихи? — был первый вопрос его.

Нимало не угрожающий, а только огорченный, грустный тон неизменного в своем добродушии Василия Федоровича произвел на всех лицеистов более глубокое впечатление, чем тонкая язвительность надзирателя. Застенчивый же Корсаков совсем растерялся.

— Пишу-с... — прошептал он, меняясь в лице.

— Значит, главною причиною их ослушания, Мартын Степаныч, был не злой умысел, а, так сказать, созвучие одинаково настроенных душ, — продолжал директор. — Отсидеть в карцере положенные сутки ослушникам, разумеется, придется. А вы, Гурьев, — внезапно обернулся он к «адъютантику» надзирателя, — как оказывается, самый задорный из всех...

— О! Он только резов немножко, но препослушный, преуслужливый мальчик, — заступился Пилецкий за своего любимца, у которого с перепугу навернулись даже на глазах слезы.

— Нет, Мартын Степаныч, извините меня: вы насчет его несколько ослеплены. Если товарищи отворачиваются от мальчика, то это уж самая плохая для него аттестация, и я убежден, что не будь Гурьева, подбивающего других, не было бы и такого поголовного протеста. Он, во всяком случае, достоин не меньшей кары, как и прочие. Но чтобы не было новых столкновений, его можно запереть отдельно, например, в классной комнате.

Гурьев уже не на шутку расхныкался.

— Помилуйте, простите! — молил он, сложа руки и захлебываясь от слез. — Не сажайте меня хотя одного...

— Он буки боится! — презрительно заметил Илличевский. — Мы вам от души благодарны, Василий Федорыч, что вы избавляете нас от него.

— Слышите, Гурьев? Глас народа — глас Божий. Но чтобы вам в темноте не было так страшно, Прокофьев может не тушить у вас огня. А вы, господа, захватите с собой шинели: карцер, кажется, нынче не топлён. Да не забудь, Прокофьев, отнести к ним туда табуретов, сколько нужно.

Такая заботливость добряка-директора окончательно примирила обреченных на наказание с их участью. Когда они под конвоем дядьки гуськом спускались по лестнице в нижний этаж, где помещался карцер, навстречу им попался сын директора, лицеист Малиновский, который, ужиная и ночуя на квартире отца, не присутствовал при рассказанном эпизоде в лицейской столовой, а теперь возвращался в лицей за забытой книгой.

— Куда так поздно, господа? — удивился он, введенный в заблуждение накинутыми на плечи товарищей шинелями. Узнав же в чем дело, он воскликнул:

— Ах, уж этот штрафной билет! Отец никогда не одобрял его.

— Не стойте, господа! Вперед, марш! — скомандовал конвойный Прокофьев.

## Глава XIII

### Правнук арапа Петра Великого

*У всякого своя есть повесть,  
Всяк хвалит меткий свой кистень.  
Шум, крик. В их сердце дремлет совесть,  
Она проснется в черный день.*

*"Братья разбойники"*

Отведя маленьких преступников в место их заключения — в низкую и сырую каморку, всю мебель которой составлял единственный табурет, — страж-дядька согласно наказу директора принес еще несколько табуретов и затем, пожелав им на прощанье доброй ночи, удалился, тщательно замкнув на ключ дверь и захватив с собой свечу. Оставшись одни в непроглядном мраке ночи, наши шесть арестантов-лицеистов несколько минут хранили молчание, точно каждому из них сдавалось, что он заживо схоронен под землей. "Но на миру и смерть красна", — говорит пословица. Один тихо засмеялся — и общая могила разом огласилась звонким неумолкаемым хохотом всех шести погребенных.

— Что же мы, так всю ночь и простоим на ногах? — заговорил первым Пушкин. — Благо сидеть есть на чем, так покорнейше прошу, милостивые государи, садитесь; будьте как дома.

"Милостивые государи", смеясь, последовали приглашению, причем за кромешною тьмою кто-то стукнулся головой с Пушкиным и охнул.

— До свадьбы заживет! — утешил Пушкин. — Ну что, сели, государи мои?

— Сели.

— Заседание открывается; а так как заснуть сидя на табуретах все равно не придется, то предлагаю коротать время рассказами. Согласны?

— Согласны.

— Кому же начинать?

— Ты, Пушкин, подал мысль — так ты и начинай, — решил Иличевский.

— Могу. Дайте только подумать, что бы такое рассказать... Да! Слышал кто-нибудь из вас про Абрама Петровича Ганнибала?

— Я слышал, — отозвался Кюхельбекер, — а здесь, в царскосельском парке, ему и памятник поставлен: "Победам Ганнибала". Живя с детства в Павловске, я часто бывал тут...

— Нет, это памятник не Абрама Ганнибала, а сына его, Ивана Абрамовича, который прославил себя как победитель турок при Наварине, где сжег весь их флот. Я говорю теперь об отце его — арапе Петра Великого.

— Об этом-то и я от отца моего слышал! — подхватил Илличевский. — Он был ведь простой арап-невольник, а дослужился до генеральского чина?

— До генерал-аншефа и Андреевской звезды! — поправил Пушкин. — Но был он не простой невольник, а царского рода, потомок знаменитого африканского полководца Ганнибала. Еще в глубокой старости среди наших северных снегов Абрам Петрович с умилением вспоминал о своей знойной Африке. Их, чернокожих сыновей-принцев, было у отца его ни более ни менее, как 19 человек; но Абрам, как младший, сдружился особенно с малюткой-сестрицей своей Лаганью. Целый день, бывало, резвились они под тенистыми пальмами отцовского сада, плескаясь вместе под брызгами фонтанов. Но раз, когда ему было еще только 8 лет, нагрянули к ним откуда ни возьмись белые дьяволы. Мы, люди белого племени, представляем себе дьявола черным, а им, чернокожим, дьявол представляется белым. И недаром! Дьяволы эти изменнически напали на лагерь чернокожих, кого перебили, кого увели в неволю. В числе последних был и маленький Ибрагим (по-нашему — Абрам). Связанный по рукам и ногам, он пластом лежал на палубе корабля и сквозь дыру в стенке безмолвно, с замиранием сердца глядел на удаляющийся родной берег, глядел на дорогую подругу своих детских игр, Лагань, которая, как верная собачонка, плыла за кормою корабля. Но вот берег уже начал скрываться в голубой дали; вот и Лагань начала отставать и пропала, наконец, из виду. Что случилось с бедняжкой? Этого Ибрагим никогда так и не узнал. Самого его продали в султанский сераль. Происходя от царской крови, он поражал своею благородною осанкой, своею редкой для арапа красотой, и наш русский посланник при турецком дворе, по словам одних, перекупил его у султана, по словам других — просто выкрал его из дворца. Как бы там ни было, посланник отослал его в Петербург в подарок государю своему, Петру Великому. Тому он также сразу приглянулся. Вместе с польской королевой государь окрестил арапчика и назвал его Петром. Но крестник никак не мог свыкнуться с новым христианским именем, плакал и умолял до тех пор, пока государь не махнул рукой и не возвратил ему его прежнее

имя. Зато маленький Ибрагим, или Абрам Петрович (как стали звать его после по крестному отцу), просто выбивался из кожи, чтобы угодить государю, и своею природной сметливостью, своим редким умом так полюбился ему, что Петр ни днем ни ночью уже не отпускал его от себя. Арап спал рядом с царскою спальней — в токарне, а во время похода — в царской палатке. Бывало, ночью царь его окликнет:

— Арап!

Тот мигом очнется и откликнется:

— Чего изволите?

— Подай-ка огня и доску!

А аспидную доску царь требовал затем, что записывал на ней наскоро приходившие ему в голову ночью мысли. Написав, что требовалось, он возвращал арапу доску.

— На, повесь и поди, спи!

Впоследствии, когда Абрам Петрович от самого царя научился грамоте, письму и арифметике, он писал на доске под диктовку царя, а царь уже поутру перечитывал написанное, дополнял и заносил в свою записную книжку.

Петр Великий, вероятно, никогда не расстался бы со своим верным арапом, если бы Абрам Петрович не выказал особенно замечательных способностей к математике. Петр считал за грех оставить это без внимания, и арап был отправлен в Париж — доучиваться в тамошней инженерной школе. Но тут у французов разгорелась война с Испанией. Пылкий африканец не утерпел: не спросясь даже у своего государя, он записался в армию тогдашнего регента французов герцога Орлеанского и пошел драться с испанцами. Пробираясь раз со своим отрядом потайным ходом в монастырь, в котором засели испанцы, он наткнулся на врагов. После жаркой схватки арапа с разрубленною головою товарищи замертво вынесли на воздух. Жизнь его висела на волоске; с транспортом раненых его отвезли обратно в Париж.

Юноша во цвете лет и Геркулес по сложению, он живо поправился и, разумеется, сделался героем дня: смертельно раненный лейтенант "великой нации", да еще из арапов, да вдобавок и принц! Все парижские салоны настезь раскрылись перед ним, и его, как говорится, на руках носили. Диво ли, что такие успехи вскружили нашему африканцу его буйную голову. Напрасно благодетель его русский царь писал ему письмо за письмом, требуя возвращения в Россию: арап не мог оторваться от обласкавшего его Парижа. Раз, однако же, на выходе во дворце герцог Орлеанский подозвал его к себе и молча подал ему письмо, которое только что получил от Петра.

Абрам Петрович перепугался не на шутку: он знал, что с царем шутки плохи, и был уверен, что тот требует выслать его к нему по этапу. Вместо того, что же оказалось? Петр предоставлял ему на выбор: возвратиться домой или поселиться в Париже, но обещал и в том и в другом случае не покидать его. Такая отеческая любовь крестного отца до того тронула арапа, что он тут же уложил свои пожитки и поскакал восвояси. На последней станции от Петербурга, в Красном Селе, он, войдя в избу, увидел за столом у окошка какого-то исполина в зеленом кафтане, который куря трубку читал немецкую газету. А исполин также его заметил и радостно вскочил с лавки.

— Ба, арап! Здорово, крестник!

Абрам Петрович теперь только узнал своего благодетеля и хотел повалиться ему в ноги, но Петр принял его в свои объятия и поцеловал в голову.

— Мне дали знать, что ты едешь, — сказал он, — и я поехал к тебе навстречу.

Он благословил его образом апостолов Петра и Павла и повез с собой в собственной коляске в Петербург. Здесь на крыльце дворца их встретили императрица Екатерина и две молодые царевны. Петр, улыбаясь, обратился к старшей царевне, Елизавете Петровне:

— Помнишь, Лиза, арапчика Ибрагима, что крал для тебя когда-то в Ораниенбауме яблоки из моего сада? Так вот — рекомендую. Но это уж не тот простой арап, а Абрам Петрович Ганнибал, капитан-лейтенант моего Преображенского полка.

Арап при этой новой царской милости бросился целовать руки Петра, а тот, глядя его по курчавой голове, продолжал:

— И не забудь, Лиза: он мой любимый крестник. Если волею Божьею меня уже не станет на свете, то тебе поручаю заботы об нем.

После этого до конца жизни царь уже не отпускал его от себя, а умирая завещал ему 2000 дукатов и снова повторил дочери, чтобы она не забывала его крестника. Но царевна Елизавета сама не скоро попала в силу, а у Абрама Петровича, как у всякого выдвинувшегося из ряда человека, были завистники-враги: сперва князь Меншиков, потом Бирон. Под предлогом, что Абрам Петрович, как искусный инженер, лучше всякого другого измерит Китайскую стену (а для чего ее нужно было измерить — Господь один знает!), Меншиков усадил его в кибитку да и спровадил прямехонько в Сибирь. Вскоре, однако, самого Меншикова отправили туда же, а арап вернулся назад в Петербург. Но и преемнику Меншикова, Бирону, выскочка-арап был сучком в глазу, и вот Абрама Петровича под другим

каким-то предлогом во второй раз послали за Урал. С помощью добрых людей он, однако, и на этот раз тихомолком выбрался на волю и долгие годы жил где-то около Ревеля. Здесь он женился на коренной немке, дочери капитана, Христине Регине фон Шеберг, а когда взошла, наконец, на престол Елизавета Петровна, явился ко двору. Дочь Великого Петра, хорошо помня завет покойного отца, приняла живое участие в судьбе арапа, и с этого времени он пошел быстро в гору. Дожив до 92 лет, он умер генерал-аншефом и Андреевским кавалером, уважаемый всеми, оплакиваемый своими детьми, внуками и правнуками, из которых одного, милостивые государи, вы видите теперь перед собой.<sup>[13]</sup>

— Как? Может ли быть? Ты, Пушкин, — правнук арапа Петра Великого? — посыпались на рассказчика со всех сторон вопросы.

— По прямой линии, — отвечал он, — сын его и Христины Шеберг, Осип Абрамович Ганнибал, женился уже на русской — Пушкиной, а дочь их, Надежда Осиповна Ганнибал ("прекрасная креолка", как зовут ее в Москве), вышла также за Пушкина — отца моего, так что я, в некотором роде, Пушкин в квадрате, но вместе с тем — немножко и немец, и арап...

— Но царской крови! Африканский принц! — воскликнул Пуцин. — Поздравляю, ваше высочество! Позвольте пожать вашу руку.

— И мне позвольте! И мне! — подхватили весело прочие слушатели и, сталкиваясь в темноте друг с другом, наперерыв жали руку вновь объявленному принцу.

— То-то ты такой смуглый и курчавый, — заговорил опять Пуцин. — Дядя твой Василий Львович рассказал мне с три короба о вашем роде Пушкиных, а о Ганнибалах хоть бы словом заикнулся.

— Потому что в собственных его жилах нет ни капли их крови. Но Пушкины действительно тоже одна из древнейших фамилий. Родоначальник наш Раджа, выходец из Пруссии, прибыл в Россию еще при Александре Невском, и после того Пушкины целые века состояли при русских царях в разных придворных и других высших званиях: боярами и думными дворянами, оружейниками и рындами, великими послами, воеводами и даже наместниками.<sup>[14]</sup>





— Ах да, кстати, Леонтий, — спохватился Пушкин, — снеси-ка стакан и ему, бедняге. Чай, томится в классе один-одинехонек.

— Об них не беспокойтесь, — отвечал пожимая плечами Леонтий, — господин надзиратель уж с час назад как их выпустили.

— Ну вот! — заметил негодуя Илличевский. — А ты, Пушкин, еще пожалел об нем! Конечно, в семье не без урода, но этот Гурьев просто невозможен. С виду сахарная кукла, вербный херувимчик, прифранчен, надушен — за версту одеколоном пахнет. А в душе черен — чернее трубочиста, право. Кто может быть ему полезен — тому от него отбою нет. Сперва лебезил все около Горчакова, а когда тот его раскусил, стряхнул с себя, — он начал лгнуть теперь к Броглию, благо — графчик тоже. А уж перед начальством — как собачка на задних лапках ходит, юлит как...

— Как черт перед своей бабушкой? — договорил Кюхельбекер, чтобы заявить и свое знание тонкостей русского языка.

— Перед заутреней, хочешь ты сказать? — поправил его Илличевский и продолжал: — А Пилецкому он так-таки змеей в самую душу влез. Я даже подозреваю, господа, что он наушничает ему про нас.

— И я тоже! — подхватил опять Кюхельбекер.

— И ты тоже наушничаешь? — рассмеялся Пушкин.

— Да ну его, этого Гурьева, Бог ему судья! — прервал Дельвиг. — Если вам угодно, господа, я тоже могу теперь кое-что порассказать из действительной жизни, и даже из своей собственной.

И молодой барон начал рассказ о походе 1807 года, в котором он будто бы случайно участвовал, сопровождая одного старшего родственника. Рассказ его был так ловко веден, обставлен такими мелкими подробностями, что товарищи просто заслушались и почти готовы были ему верить. Простодушный же дядька Кемерский, действительный участник описываемого похода, поверил всему безусловно и только поддакивал:

— Все это, как Бог свят, истинная правда!

Тут, увидав допитые стаканы, он с досадой почесал в затылке.

— Экая жалость, право! Надоть идти, а смерть как охотно бы еще послушал... Батюшка барон! Сделайте такую божескую милость, не досказывайте теперича: уж завтра, что ли, послезавтра доскажете, и меня, старика, позовите.

— Ладно, будь по-твоему, — улыбнулся барон. — Что с ним поделаешь, господа? Надо уважить старика. Рассказывай теперь кто-нибудь другой.

И рассказы возобновились. Но усталость взяла свое... Когда на

рассвете надзиратель Пилецкий заглянул в карцер, то застал всех арестантов спящими в самых разнообразных позах. Четверо держались еще кое-как на своих табуретах: Пушин и Дельвиг — прислонясь — один к стене, другой к окошку, Илличевский и Корсаков — прислонясь друг к другу; двое же остальных оказались на полу; Пушкин — прикорнув в углу, вытянув одну ногу, а Кюхельбекер, припав щекою к этой ноге, как к подушке, растянулся во весь рост и издавал здоровый храп. Пилецкому стоило немалого труда растолкать и поднять их на ноги; но и стоя на ногах они только хлопали посоловевшими глазами и зевали во весь рот, вряд ли хорошо понимая смысл назидательного поучения надзирателя, что таким сокращением своего ареста они обязаны-де исключительно особой снисходительности директора Василия Федоровича.

— Да и моей уступчивости, — добавил он. — А как вы, милые мои, время проводили? До меня дошли слухи, будто в рассказах.

— А разве и этого нельзя? — оцетинился Илличевский, прежде других очнувшийся от сна.

— Напротив, дорогой мой, занятие прекрасное, которое я со своей стороны советовал бы вам и впредь продолжать заместо разных дурачеств. А еще лучше было бы, ежели бы вы дали себе труд записывать ваши рассказы. Вы могли бы, таким образом, составить некое литературное общество, члены коего обязаны были бы представлять каждый на суд собратьев по одной письменной работе в неделю, что ли, в две недели... Да вы, я вижу, спите еще, друзья мои, не слышите меня! Ступайте-ка сперва умойтесь, освежитесь, а там опять потолкуем.

Этим и кончилась история первого ареста лицеистов. Одного Дельвига только директор Малиновский потребовал днем к себе и заставил пересказать свои воинские подвиги, о которых ему, как и Пилецкому, отрапортовал с наивным энтузиазмом дядька Кемерский. Дельвиг почти дословно передал свой вчерашний рассказ.

— И все это в самом деле было? — усомнился Малиновский.

— Было, — отвечал хладнокровно Дельвиг, не моргнув и глазом.

После того несколько вечеров подряд около него собиралась кучка товарищей и инвалидов-дядек, под главенством «наибольшего», Леонтия, которые все горели нетерпением услышать продолжение удивительных приключений молодого барона. Уж долго спустя после того Дельвиг признался наконец, что все рассказанное им было не более как плод его фантазии, но что ему совестно было повиниться в этом слушавшему его с таким вниманием уважаемому директору.

## Глава XIV

### Первый расцвет лицейской Музы

*Издревле сладостный союз  
Поэтов меж собой связует  
Они жрецы единых муз;  
Единый пламень их волнует...*

*"К Языкову"*

Заключение в карцер имело для лицейцев два важных последствия: во-первых, штрафной билет был навеки отменен; во-вторых, высказанная Пилецким мысль, чтобы лицеисты основали из среды своей литературное общество, действительно была осуществлена ими; причем, однако, новое общество вскоре получило такое развитие и приняло такое направление, каких, конечно, не предвидел и не мог желать сам надзиратель. В первые дни все ограничивалось устными рассказами собиравшихся в кружок лицейцев, слушавших особенно охотно Дельвига. В молодом бароне точно было два отдельных существа — обязательные занятия были для него мукой: он постоянно просыпал первый урок, засыпал даже во время класса, в играх товарищей никогда не участвовал, — словом, был олицетворением неподвижности и лени; а между тем, дав раз волю своей фантазии, он увлекался до того, что мог как никто другой сочинить самую замысловатую, таинственную историю и в конце концов распутать все узлы и узелки ее так искусно, что любо-дорого было слушать. Помериться с ним по этой части мог разве один Пушкин, но рассказы последнего, напротив, поражали своею классическою простотою и естественностью. Так, лицеистам тогда же довелось услышать от него два рассказа — «Метель» и «Выстрел», которые только 20 лет спустя сделались достоянием всей читающей публики в числе так называемых "Повестей Белкина".

Для разнообразия устраивалась мальчиками иногда и общая литературная игра, немало их забавлявшая и состоявшая в том, что каждый из них должен был по очереди продолжать вымышленную историю с того места, где оборвал ее его предшественник. Само собой разумеется, что выходявшие из этой литературной кухни блины были недоквашены, недопечены или перепечены, но самим поварам они приходились как

нельзя более по вкусу, подобно тем незатейливым блинчикам, что месят и пекут на своей игрушечной кухне маленькие дети из полученных от матери горсточек муки, сахара и коринок.

Наконец в первых числах декабря того же 1811 года приступили и к письменным опытам. Начало было сделано Илличевским, представившим на суд товарищей стихотворение свое: "Сила времени". Автор немало над ним потрудился, и оно действительно вышло настолько удачно, что невзыскательными судьями было признано единогласно превосходным.

— Хоть сейчас в печать! — говорили они. — Что бы тебе, Илличевский, в самом деле в какой-нибудь журнал послать?

— Идея, господа! — воскликнул тут Корсаков, ближайший друг Илличевского, ради компании с которым он также просидел наместни в карцере. — Да отчего бы и нам самим не издавать журнала? Первою статью так и поместили бы "Силу времени" Олосеньки (Олосенькой называли лицеисты Илличевского вместо Алексей).

От маленького и тщедушного, застенчивого и неразговорчивого Корсакова, не обращавшего на себя до сих пор ничьего внимания, никто не ожидал такой прыти.

— И то, господа, — покровительственно поддержал его польщенный Илличевский, — идея вовсе не дурная. Только моих стихов, конечно, нечего ставить на первый план. Скорее рассказ Дельвига о его военных похождениях.

— Ну нет, брат, не дожدهшься, — лениво улынулся в ответ Дельвиг, — писать для меня каторга.

— Голубчик, Тосенька, умоляю тебя! — пристал к нему Корсаков, хватая его нервно за обе руки. — Ведь все уж у тебя в голове; стоит тебе только взять перо...

— Легко сказать: взять перо! Возьмешь его — так и води по бумаге, вырисовывай каждую букву, да еще обдумывай каждую фразу, каждое выражение, чтобы слова лишнего не сказать. Нет, братцы, меня уж, сделайте милость, увольте. Вот Пушкин — другое дело: за словом в карман не полезет; ему и книги в руки; он вам мигом накатает историю своего прадеда, арапа Петра Великого.

— История арапа для меня слишком дорога, чтобы писать ее как-нибудь, с плеча, — отозвался Пушкин, — я храню ее для крупного романа, который, может быть, и сочиню когда-нибудь, когда вырасту...

— И когда вырастет и талант твой? — досказал Дельвиг. — Это, верно, слишком драгоценная тема!

— Ах ты, Господи! — вздыхал Корсаков. — А я так уж радовался, что

журнал мой состоится... Ну, дай хоть свой «Выстрел» или "Метель".

— Если успею — с удовольствием.

— А я дам тебе лучший кусочек из моей "Грозы С-т Ламберта", — вызвался тут сам Кюхельбекер.

— Уж если Виленька даст свой "лучший кусочек", то дело в шляпе! — подтрунил зубоскал Гурьев.

— Не смей называть меня Виленькой! — огрызнулся на него Кюхельбекер. — Я не раз уж просил тебя...

— Экой чудак, право! Ведь мамаша твоя тебя так называет...

— То мамаша, а то ты!

— Да ведь вот другие же за такие клички не обижаются: Илличевский — за «Олосеньку», Дельвиг — за "Тосеньку"...

— Ну полноте, господа, перестаньте, прошу вас! — вмешался умоляющим тоном Корсаков. — Твой вклад, Кюхельбекер, я с благодарностью принимаю. А на вас обоих, — прибавил он, обращаясь к Пушкину и Дельвигу, — я положительно рассчитываю.

Расчета его они, однако, не оправдали. Как он ни торопил их, наши ленивцы все отнекивались, а отложить выпуск раз задуманного издания не позволяла Корсакову его издательская лихорадка. И вот 11-е число того же декабря ознаменовалось выходом первого лицейского рукописного журнала.

На заглавной странице было выведено с каллиграфическими выкрутасами название журнала:

### **ВЕСТНИК**

Под заголовком столь же старательно, но более мелким шрифтом было изображено:

#### ***издаваемый Николаем Корсаковым***

По скромности Илличевского его "Сила времени" так и не украсила первых страниц журнала; они были отведены фельетону, посвященному разным мелочам лицейского быта: штрафному билету, пари из-за булки, проделкам и ссорам Гурьева и т. п. За фельетоном шел отдел, почему-то названный «Смесью», хотя он весь состоял из двух только стихотворных пьес: вышеупомянутого стихотворения Илличевского и обещанного Кюхельбекером «кусочка» перевода его "Грозы С-т Ламберта". Насколько верен и грамотен был этот перевод, можно судить уже по тому, что профессор Кошанский (которому, как первому вдохновителю лицейской Музы, был обязательно поднесен корсаковский "Вестник") впоследствии не раз прочитывал эти образцовые в своем роде вирши, чтобы указать, "как не следует писать".

Третий и последний отдел первого номера журнала составляли "Разные, известия", где, между прочим, говорилось и о предложении надзирателя Мартына Степановича Урбановича-Пилецкого учредить лицейское литературное общество.

Переходивший из рук в руки «Вестник» был только предвестником дальнейшей журнальной деятельности лицеистов. Каждый, кому удалось связать мало-мальски складно пару фраз, а тем более — стихов, чаял теперь в себе назревающий талант и порывался если и не издавать также свой самостоятельный орган, то хотя принести в чужой журнал свою посильную лепту. Из среды этих вновь народившихся литераторов выдвигались Илличевский и Пушкин — эти "лицейские Державин и Дмитриев", как величали их с какой-то благоговейною шутливостью их собратья по перу. У того и другого были свои поклонники, которые сгруппировались около них еще плотнее, когда в начале 1812 года оба они также стали издавать журналы. Журнал Илличевского получил название "Для удовольствия и пользы", журнал Пушкина — "Неопытное перо". В первом номере своего журнала Пушкин поместил свое первое же стихотворение «Роза», положившее начало его литературной славе. Нечего и говорить, что самым верным сотрудником его был барон Дельвиг, который ради поддержки журнала усиленно боролся с одолевавшей его ленью. И Кюхельбекер тоже мечтал было принять участие в журнале, но Пушкин каждый раз оказывал его поэтические порывы ключевой водой.

— Писал бы ты, Кюхля, лучше по-своему, по-немецки, — советовал он ему.

— Да я такой же русский, как и ты! — обижался Кюхля. — Я родился в России, здесь, в Павловске, где покойный отец мой был комендантом, и сердце в груди у меня чисто русское...

— Да язык-то у тебя во рту немецкий, суконный. Право, брат, послушайся меня: по-немецки ты, может быть, написал бы что-нибудь и дельное...

— У немцев и без меня довольно своих поэтов, а русским и я принесу крупницу пользы.

— Но когда, спрашивается? Ведь если стихи твои — извини, брат! — и принимаются в наши лицейские журналы, то больше для потехи.

— А! Вот как!.. Буду знать...

И с этой минуты Пушкин лишился своего «потешного» сотрудника, который перекочевал в лагерь более снисходительного Илличевского. Но такая потеря нимало не огорчила Пушкина, который в Дельвиге нашел и самого преданного друга и усердного сотрудника.

Поэт, по понятиям того времени, должен был быть сколь возможно ленив и беспечен. Этими двумя отрицательными качествами оба друга наши обладали вполне. Разница между ними была только о том, что Дельвиг, считавшийся одним из последних учеников в классе, и за стихи принимался нехотя и вяло, тогда как Пушкин по необычайной своей даровитости на уроках схватывал все на лету и опережал более прилежных товарищей; в писании же стихов выказывал замечательную усидчивость: отделявал, оттачивал, как токарь, каждый стишок, пока не оставался совершенно доволен им.

— В тебе немецкая кровь прабабки твоей фон Шеберг, — замечал Дельвиг. — Во мне же кровь эта вся выдохлась: осталась одна родная, святая славянская лень.

И точно своею «святою» ленью он как бы даже гордился, рисовался, неоднократно воспевал ее и еще в лицее написал себе такую надгробную надпись:

Прохожий! Здесь лежит философ-человек:  
Он проспал целый век.

Пушкин хотя также тяготился связывающим обязательным трудом, но не «просыпал» своего века: был игрив и пылок, а насидевшись в классе, набегавшись до упаду с прочими шалунами, охотнее всего искал отдохновения в беседе со спокойным и рассудительным Дельвигом, который в свободные часы лежал обыкновенно у себя в камере на кровати с книжкой или же просто дремал. Но оба они были мечтатели, ярые поклонники классической поэзии и мифологии и располагали поэтому неистощимой темой для дружеских излияний; по разнородности же своих темпераментов они как бы дополняли один другого и поэтому безотчетно все сильнее тяготели друг к другу.

А тут подошла и весна — эта лучшая союзница всех сочувственных душ. В то самое время, как прочие товарищи, резвясь, бегали взапуски по оголенным аллеям дворцового парка, по его топким полянкам, покрытым еще кое-где тонкой пеленой обледеневшего снега, — Дельвиг брал под руку Пушкина, порывавшегося бежать вслед за товарищами, и насильно усаживал его рядом с собой на скамейку.

— Ну, посидим тут! Охота тебе бегать! Вишь, как славно солнышко уже греет!

И молча нежились они вдвоем под первыми теплыми лучами весеннего солнца, вдыхали полною грудью слегка нагретый, но еще свежий

воздух, пропитанный запахом оттаивающей земли и прошлогодних листьев.

— Слышишь, как журчит где-то? — говорил, бывало, расслабленным от блаженства голосом Дельвиг, щурясь сквозь темные очки и не шевелясь с места. — Это мать-земля просыпается и в полусне лепечет.

А живчик Пушкин с любопытством всматривался в ту сторону, откуда доносилось мелодичное журчание снегового ручья, и вдруг замечал, как из-под прибитого к земле полуистлевшего листа начинает выглядывать острою зеленою иглой молоденькая травка.

— Смотри, Тося, смотри! — в безотчетном восторге восклицал он. — Я вижу, как трава растет...

— Ну, этого ты не увидишь, — возражал более хладнокровный Дельвиг. — Вероятно, ветром как-нибудь лист немножко сдунуло.

Пушкин в досаде вскакивал на ноги.

— Да нет же! Говорю тебе: на моих глазах сама травка свернула его в сторону.

— Ну ладно, не кипятись, садись, пожалуйста, — соглашался миролюбивый друг.

— Нет, смотри сам...

— Я ведь близорук и верю тебе на слово.

А волшебница-весна все более вступала в свои права: одела уже оголенные ветви деревьев зеленым пухом, а там и глянцевитою, густою листвой, вызвала из южных стран целые хоры пернатых певчих. Сторожа-инвалиды в угоду ей смели везде опавшие осенью листья. Песочные дорожки живо пообсохли. В несколько дней пустой, запущенный парк сделался неузнаваем: приубрался, принарядился, огласился птичьим гамом и свистом.

Не раз друзья-поэты садились теперь у подножия памятника знаменитого предка Пушкина — наваринского героя Ивана Абрамовича Ганнибала, и Пушкин посвящал своего нового друга во все подробности своей семейной хроники. Но любимым местом отдохновения их был полуостровок большого пруда. Здесь, в виду зеркальной водной глади, отражавшей в себе и береговую зелень, и молочные облака в вышине, и длинношеих красавцев лебедей, гордо плававших взад и вперед, — они, растянувшись в мягкой мураве, по часам зачитывались стихами русских и французских поэтов и обдумывали вместе темы для собственных своих будущих творений, из которых большая часть, конечно, так и осталась ненаписанной. По временам только оба вздрогнут, бывало, когда какой-нибудь шальной лебедь пронзительно загогочет во все свое лебединое



горло, а вся стая лебедей тут же подхватит его крик и стремительно понесется над стеклянного гладью пруда, с плеском разбивая ее взмахами своих широких крыльев. Вздогнут они — и улыбнутся друг другу; потом вдруг, как по уговору, в один голос начнут декламировать элегию Батюшкова:

Есть наслаждение и в дикости лесов,  
Есть радость на приморском берегу...

Товарищи-лицеисты особенно в первое время немало подтрунивали над вновь объявленными друзьями, называя их то диоскурами Кастором и Поллуксом, то Орестом и Пиладом или сравнивая их то с Дон Кихотом и верным его оруженосцем Санчо Пансой, то с человеком и его неразлучною тенью, то с нашею земною планетой и ее спутницей луной. Сравнения эти, впрочем, были довольно метки: Пушкин стоял всегда горой за своего молчаливого оруженосца, за свою тень и луну — Дельвига, превознося, даже преувеличивая талант его; Дельвиг же, с своей стороны, был самым пламенным поклонником нарождающегося гения своего рыцаря-властелина и искренно благоговел пред каждою мыслью, пред каждым стихом его.

А как же относился к «измене» Пушкина Пущин, этот первый его друг лицейский?

Тот словно и не замечал его измены, потому что в действительно измены и не было. Новому другу, Дельвигу, Пушкин отвел в своем сердце только один сокровенный уголок, маленькую поэтическую кумирню, куда не допускал уже ни одного непосвященного; всю же остальную часть своего обширного сердца он по-прежнему оставил открытою настезь для своего первого друга, Пущина. И теперь, как в былое время, между двумя жильцами соседних номеров, 13 и 14, часто происходил на сон грядущий откровенный обмен волновавших их мыслей и чувств по поводу разных мелочных обстоятельств лицейского быта; часто приходилось Пущину задушевною дружескою речью успокаивать бурю, возбужденную в чересчур пылком и самолюбивом Пушкине столкновениями с тем или другим из шалунов-товарищей.

## Глава XV

### Война 1812 года

#### *Период первый*

*Вы помните: текла за ратью рать,  
Со старшими мы братьями прощались  
И в сень наук с досадой возвращались,  
Завидуя тому, кто умирать  
Шел мимо нас... И племена сразились...*

*"Была пора: наш праздник молодой..."*

Ничто, казалось, не могло нарушить идиллической тишины лицейской. И вдруг — тишина эта огласилась призывными воинскими трубами и барабанным боем, отдаленным гулом орудий и стонами умирающих. Наступило лето рокового 1812 года.

Некоторое время уже в лицей проникали смутные слухи о разрыве между императором Александром I и Наполеоном. Раз в половине июня лицейский доктор Пешель, который, как ходячая газета, разносил аккуратно каждый день по Царскому Селу самые свежие вести обо всем, совершающемся на белом свете, ворвался впопыхах в лицейскую столовую и разразился над обедавшими воспитанниками громоносною новостью.

— Ну, господа, поздравляю: каша заварилась!

Давно со страхом ожидавшие этого известия лицеисты гурьбой обступили доктора.

— Война?

— Да, даже и без формального объявления! Наполеон как ни в чем не бывало перешел нашу границу. Государь глубоко оскорблен и объявил, что до тех пор не положит оружия, пока хоть один француз останется на земле русской.

Наслышавшись от профессора де Будри восторженных рассказней о «бессмертных» подвигах "нового Цесаря" — Наполеона, лицеисты не иначе представляли себе его, как каким-то баснословным героем,

окруженным сияющим ореолом. Теперь же, когда грозовые тучи, постоянно висевшие над Европой, надвинулись и на Россию, обаятельный образ этого героя мгновенно померк и превратился в какое-то страшное многоголовое чудовище, готовое пожрать и их вместе с другими. Ко времени прихода газет лицейская библиотека была теперь битком набита. На уроках у лицеистов с профессорами только и разговоров было, что о войне. Со сдержанным негодованием передавали они друг другу повторяющуюся изо дня в день неутешительную весть с поля действий: что войска наши, хотя и отбиваются геройски, но отступают шаг за шагом; что армии нашей, доходившей едва до 250 000 человек, не по силам было опрокинуть полумиллионную армию прекрасно обученных и избалованных победами французов; никто из них не мог этого понять, как не понимала того даже и большая часть взрослых патриотов. Профессор же Кошанский, прочитывавший обыкновенно во всеуслышание в классе все последние реляции нашего главнокомандующего, военного министра Барклая-де-Толли, начал вскоре открыто возмущаться:

— Истый Кунктатор! Проклятый немец! Рыбья кровь! Ни капли патриотизма!

По примеру его, понятно, стали громко роптать и лицеисты. Ободрял их только молодежавый вид проходивших с музыкой и песнями через Царское Село солдат, особенно ополченцев-"жертвенников" (как называл их народ), в смурых полукафтанах, с золотым крестом на шапке, с ружьями, пиками и с небритой бородой. Из-за решетки лицейского сада мальчики восторженными криками приветствовали храбрых воинов; а когда среди этих загорелых, запыленных лиц попадался еще какой-нибудь знакомый или даже родственник одного из лицеистов, то они гурьбой высыпали за решетку на улицу и со слезами обнимали идущих почти на верную смерть.

— Возьмите и нас с собой! — восклицали они и, вздыхая, глядели им вслед.

Каждый день приносил вести из армии о чудесах храбрости наших отступавших против собственной воли войск. Особенно же сильное впечатление на лицеистов произвел подвиг Раевских. Командовавший нашею 2-ю Западною армией князь Багратион, желая соединиться под Смоленском с 1-ю Западною армией Барклая-де-Толли, поручил генералу Раевскому задержать на время авангард французов. Корпус Раевского состоял всего из 10 000 человек. Отбросив передовой отряд неприятеля на семь верст, Раевский у деревни Салтановки наткнулся на 5 дивизий маршала Мортье, в 40 000 человек. Французы были защищены лесом и

рекой; русским же приходилось идти большой дорогой, совершенно открытой для неприятельских выстрелов. Не думая долго, Раевский со всем своим штабом и с двумя малолетними сыновьями — Александром 16-ти лет и Николаем 11-ти — спешился, стал во главе передового Смоленского пехотного полка, взял за руки обоих сыновей и бросился вперед с криком:

— За мной, ребята! Я и дети мои откроем вам путь!

Под градом пуль и картечи французских батарей солдаты ринулись за своим любимым командиром. Смерть острою косою вривалась в ряды их, но ряды смыкались и смело продолжали двигаться вперед. Молоденький прапорщик, ровесник и друг старшего из братьев Раевских, со знаменем в руке бежал впереди колонны.

— Дай мне нести знамя! — кричал ему вслед товарищ.

— Я сам сумею умереть! — был ответ, и, в то же мгновение пораженный вражескою пулей в самое сердце, знаменщик, не издав ни звука, упал ничком на свое знамя. Александр Раевский мигом высвободил из-под убитого друга знамя и, высоко подняв его, побежал далее с криком "ура!". Отец, держа за руку младшего сына, обернулся к солдатам:

— В штыки, ребята!

С неудержимым натиском солдаты ударили в штыки; вражеские орудия смолкли; Мортье был отброшен — и задача выполнена: князь Багратион мог теперь соединиться с Барклаем-де-Толли.

Сам Раевский-отец был контужен в грудь; младшему же сыну его Николаю предательская пуля прорвала платье, не причинив ему, однако, никакого вреда.

— Знаешь ли, Коля, зачем я водил тебя с собой в дело? — спросил его отец по окончании боя.

— Знаю, — просто ответил мальчик, — затем чтобы нам вместе умереть.

Наших лицеистов такое геройство воспламенило как порох. Пушкин волновался, конечно, не менее других. Думал ли он, что ему суждено подружиться впоследствии с этим маленьким героем, Николаем Раевским, что он посвятит ему даже свою поэму "Кавказский пленник"?

Теперь же, подобно товарищам, он только завидовал и жаловался на свою судьбу:

— Другие умирают, а мы тут сиди себе сложа руки! Не пустят по доброй воле, так вырвемся силой!

Директору и профессорам стоило немалого труда умерить их пыл обещанием, что в случае крайности будет испрашено разрешение министра образовать из них особый легион добровольцев. И вот, казалось,

начальство намерено было сдержать свое обещание: лицейский дядька-портной Малыгин принялся готовить для воспитанников китайчатые тулупы на овечьем меху.

— Наконец-то! — заликовали мальчуганы и еще с большим жаром предались военным играм, в которых званием полководца, "генерала от инфантерии", был ими единодушно пожалован Илличевский. Но скоро им пришлось горько разочароваться. Оказалось, что их снаряжали в поход не против, а от неприятеля, потому что в Петербурге было получено приказание государя: не медля вывезти оттуда все присутственные места, учебные заведения, архивы, разные драгоценности и коллекции Эрмитажа, даже конную статую Петра Великого, что на Сенатской площади.

Кое-что, действительно, было вывезено. Но монумент остался на своем месте благодаря вот какому любопытному случаю. Тогдашнему почт-директору Булгакову, не менее других взбудораженному грозившей столице опасностью, приснился вдруг вещий сон: будто за ним, за Булгаковым, скачет сам Петр на своем бронзовом коне, а когда навстречу скачущему на Каменноостровском проспекте попался император Александр Павлович, Петр с коня возвестил ему:

— Великое бедствие грозит тебе! Но за Петербург не бойся: я постою за него, и доколе я здесь — город мой безопасен.

Министр народного просвещения князь Голицын, человек крайне религиозный и суеверный, услышав от Булгакова о дивном его сне, не посмел лишить столицу ее хранителя, и вот таким-то образом монумента не тронули. Впоследствии Пушкин на эту тему написал одну из лучших своих поэм: "Медный всадник".<sup>[15]</sup>

На самом деле Петербург спасся от неприятельского нашествия только благодаря графу Витгенштейну. Направив главные свои силы против наших двух Западных армий и преследуя их до Москвы, Наполеон поручил маршалу Удино идти на Невскую столицу. Но Витгенштейн, имея в своем распоряжении всего один корпус войск, в течение трех недель (с 17 июля по 10 августа) задерживал три корпуса Удино и нанес ему при этом такой урон, что император французов был вынужден отказаться от своего замысла — взять Петербург — и отозвал маршала. Витгенштейн же сделался кумиром петербуржцев, а вместе с тем, конечно, и царскосельской лицейской молодежи, которая, подобно дургим, с энтузиазмом распевала во славу Витгенштейна песню, оканчивавшуюся словами:

Хвала, хвала тебе, герой,  
Что град Петров спасен тобой!

Тем временем дела нашей главной армии приняли дурной оборот. Между двумя начальниками ее, Барклаем-де-Толли и князем Багратионом, возникли серьезные разногласия, отзывавшиеся на самом ходе военных действий. И войско, и вся страна стали уже громко роптать против хладнокровного, осторожного Барклая, сдерживавшего чересчур горячего Багратиона:

— Долой этого немца! Дайте нам русского полководца!

И государь внял голосу своего народа: 8 августа славный сподвижник Суворова, Кутузов, возведенный за несколько дней перед тем в звание светлейшего князя, был назначен главнокомандующим вместо Барклая. 11 августа, когда он проезжал через Царское Село в армию, лицеисты имели счастье увидеть его лично. Старчески-тучный Кутузов милостиво кивал головой направо и налево толпившимся по обеим сторонам дороги горожанам и крестьянам, прикладывая руку к своей белой кавалергардской фуражке. Но вот экипаж его должен был остановиться: подошло духовенство с иконами, затем городские жители с хлебом-солью. Народ хлынул со всех сторон к коляске с криками:

— Спаси нас! Побей супостата!

Когда же кучер хотел тронуться далее, толпа выпрягла лошадей и повезла экипаж на себе.

— Ура! Ура! Ура! — гремело без умолку. Плачущие женщины с детьми на руках бежали за народом. Старики падали наземь и целовали следы колес удаляющегося экипажа.

Несколько дней спустя лицеисты прочли в газетах, с каким восторгом армия встретила нового главнокомандующего.

— Приехал Кутузов бить французов! — говорили солдаты, которых особенно поразило следующее необычайное знамение: когда старый полководец стал объезжать лагерь, над ним внезапно, откуда ни возьмись, взвился, как бы предвестником будущих его побед, громадный орел. Кутузов обнажил голову, а весь лагерь огласился нескончаемым "ура!".

Старик поэт Державин написал тотчас же по этому поводу стихотворение "На парение орла", которое Кошанский не преминул прочесть в классе лицеистам.

Надежды, возлагавшиеся всею Россией на князя Кутузова, оправдались. С войском в 113 тысяч он сразился под Бородиным (в 112 верстах от Москвы) с 170 тысячами французов. Сам Наполеон признавался потом, что такого презрения к смерти, какое выказали русские в этом

небывало кровопролитном деле, он еще не встречал. До тех пор ни одно сражение у него не длилось долее двух-трех часов, после чего неприятель всегда бежал с поля битвы в полном беспорядке. При Бородине же, несмотря на численное превосходство французов, бой затянулся с раннего утра до позднего вечера, и ни с одной позиции русские не были сбиты. Каждая из сторон приписывала победу себе. В действительности же оба войска прекратили бой потому, что совершенно обессилели; как у нас, так и у французов выбыло из строя по 60 тысяч человек. Мы, стало быть, потеряли половину, а французы третью часть армии; но победу все-таки следует признать за нами — победу нравственную, потому что, устояв на этот раз против грозного, непобедимого дотоле завоевателя, русское войско перестало его бояться; французы же утратили веру в свою непобедимость.

В Царском Селе известие о Бородинской битве было получено двумя часами ранее, чем в Петербурге, так как записной лицейский вестник, доктор Пешель, успел перехватить драгоценную весточку у мчавшегося мимо курьера.

Нечего и говорить, что лицеисты были опять первыми, которых он обрадовал этой новостью.

— Французы наголову разбиты! Ай да Кутузов! — кричали друг другу мальчишки, бегая вприпрыжку по всему зданию лицея и на бегу обнимаясь и целуясь.

## Глава XVI

### Гувернер-театрал

*Конюший дряхлого Пегаса...  
Служитель отставной Парнаса...*

*"Моему Аристарху"*

*...О, бедность, бедность!  
Как унижает сердце нам она!*

*"Скупой рыцарь"*

Весть о Бородинской победе пришла как нельзя более кстати: в самый день царских именин, 30 августа; и когда вечером этого дня государь (возвратившийся между тем из армии в Петербург) посетил Александрийский театр, ликованию публики, сверху донизу наполнявшей театральную залу, не было конца. И самая пьеса, которая давалась в тот вечер, «Ополчение» Висковатова, точно была приурочена к чрезвычайному случаю. Главную роль — старика инвалида времен Румянцева и Суворова — играл известнейший в то время актер Дмитриевский. Когда он снял с груди своей двойной ряд медалей и крестов со словами: "Что дано мне за старую службу, то отдаю для новой службы за отечество", — и затем стал благословлять своего внука на войну, — государь не мог удержаться от слез, и весь театр заплакал вместе с ним.

В тот же вечер та же пьеса «Ополчение» давалась и в царскосельском лицее. Хотя играли одни лицеисты, но они были настолько подготовлены своим режиссером, внуком того же знаменитого Дмитриевского, что пьеса, нет сомнения, имела бы полный успех, если бы... если бы не непредвиденный случай, внезапно прервавший представление в самом разгаре. Но прежде чем рассказать этот злосчастный случай, мы должны познакомить с личностью виновника как самого спектакля, так и его провала.

Этот внук Дмитриевского был не кто иной, как один из лицейских гувернеров Иконников, летами еще не старей, но крайне болезненный, нервный и редкий чудак. Сверх того, он не в меру верил в целебные свойства "гофманских капель", которые, по его словам, только и



поддерживали его расстроенный житейскими невзгодами организм, но которые, понятно, еще более возбуждали общее ненормальное состояние его духа. Недостатки эти, однако, значительно искупались его душевной добротой и тлевшимся в нем священным огнем: он пописывал и стихи, и драматические пьесы, и не менее, быть может, самого профессора Кошанского способствовал очищению литературного вкуса поэтов-лицеистов, с доброжелательною откровенностью критикуя их скороспелые произведения.

— Это у вас, батенька, просто-таки глупо, а это вот низко и отнюдь не достойно воспевания, — объявлял он, не обинуясь, каждому в лицо.

Зато мало-мальски сносные стихи он хвалил так же чистосердечно, а за всякий особенно звучный стих, особенно удачное сравнение с умилением заключал юного автора в объятия и производил его чуть ли не в гении.

Хотя лицеисты исподтишка и подсмеивались над его эксцентричными выходками и чрезмерною чувствительностью, но в то же время жалели его, любили за прямоту и мягкость, как больного старшего брата, и охотно навещали чудака в его убогой комнатке, расположенной в том же коридоре, как и их собственные камеры.

Недели за три до 30 августа наиболее излюбленные Иконниковым мальчуганы (Илличевский, Пушкин, Пуцин, Горчаков и еще человека два-три) были приглашены им к себе на особое совещание. Молча приняв гостей, он торжественным движением руки предложил им усесться, а сам зашагал по комнате.

Молоденькие гости, не смея прервать его размышлений, следили за ним глазами и тихонько перешептывались. Сухопарый и длинный, как жердь, с развевающимися около тоненьких петушиных ног лапами сюртука, с обмотанным вокруг шеи черным шарфом, с беспорядочно вскоченными волосами, бледным, впалым лицом и лихорадочно вспыхивающим взором, Иконников, ни дать ни взять, напоминал какого-то средневекового звездочета или алхимика, погруженного всецело в таинства своей науки и забывшего окружающий его мир. Хождение его длилось, однако, слишком долго, так что один из мальчиков решился наконец громко напомнить хозяину об их присутствии:

— Александр Николаич! А, Александр Николаич!

Тот остановился как вкопанный и дико огляделся кругом.

— А? Что? Кто это звал меня?

— Мы все ждем, зачем вы нас созвали.

— Я созвал? Вот вздор! Галиматья!

Лицеисты, уже не стесняясь, захихикали.

— Да вы никак ослепли, Александр Николаевич, не видите нас?

Он усиленно похлопал глазами и в самом деле теперь только, казалось, стал различать отдельные лица. Мрачные черты его, как облитые внезапно выглянувшим солнцем, разом прояснились, судорожно сжатые губы расплылись в умильную улыбку.

— И то, други мои, словно слепота нашла. Это со мной бывает. Разбитый человек — не взыщите. А где же моя табакерка?

Комната огласилась еще пущим смехом:

— Да вон она — у вас в руках!

И точно, служившую ему табакеркой коробку из-под конфет он все время держал в конвульсивно сжатых пальцах. Добродушно улыбнувшись своей рассеянности, он высыпал из коробки в кулак здоровую понюшку табаку и прямо из кулака с видимым наслаждением втянул его в нос.

— А! Теперь совсем прозрел. Вы, я вижу, горите нетерпением узнать, в чем дело. Не буду томить вас. Угодно вам в царский день, 30 числа, сыграть подобающую комедь? Да или нет?

— Да! — был единодушный восторженный ответ.

— Если так, то приступим не медля к выбору пьесы.

Мальчики, горячася и перебивая друг друга, предлагали каждый то, что случилось самим им читать или видеть. Иконников стоял перед ними, широко расставив ноги, и терпеливо слушал, переводя глаза с одного на другого; потом, убедившись, что толку не будет, мановением руки прекратил дальнейшие пререкания.

— Минутку внимания, други мои, — сказал он. — Есть в нашем драматическом репертуаре, как в царском венце единый крупный алмаз, озеровский "Эдип в Афинах". Как сейчас помню великого деда моего Дмитревского в коронной роли...

И перекинув правой рукой воображаемую тогу через левое плечо, взъерошив волосы на макушке, губернёр-театрал с мольбой протянул вперед обе ладони и задекламировал:

— Зри руки ты мои, прощеньем утомленны,

Ты зри главу мою, лишенную волос!

Их иссушила скорбь, и ветер их разнес.

Говорил он с таким неподдельным чувством, с таким увлекательным пафосом, унаследованным, видимо, от деда-актера, что юным слушателям

в самом деле сдавалось, будто волосы на «главе» его шевелятся от ветра. Все дружно захлопали в ладоши:

— Bravo! Bravo!

— Вы-то, Александр Николаич, понятно, в грязь лицом не ударите, сыграете Эдипа на славу, — заметил в минорном тоне Илличевский. — Но где же нам, прочим, за вами утоняться? Кому исполнить, например, роль Антигоны?

— Антигоны? — переспросил Александр Николаич и отечески положил руку свою на голову миловидного Горчакова. — Такой смазливой Антигонушки, как наш красавчик князь, на двадцать верст кругом с фонарем не сыскать.

Горчаков зарделся как маков цвет и оторопел.

— Нет, нет, Александр Николаич... я не буду играть...

— Как есть красная девица! Еще краше стал, как зарумянился! Таковую нам и нужно.

— Нет, прошу вас, увольте... — бормотал маленький князь.

— Он боится, что замуж сейчас выдадим, — подтрунил Пушкин.

Злая шутка возбудила взрыв хохота, а Горчаков со слезами на глазах с укором взглянул на шутника и молча отвернулся.

— Как тебе, брат, не стыдно? — шепнул Пушкину Пуцин, потом заметил вслух: — Нет, право, Александр Николаич, нам «Эдип» не по силам. Мало ли есть легоньких пьес...

— Например, у Коцебу, — вставил Илличевский.

Иконников, как от комара, отмахнулся рукой.

— Только с коцебятиной этой от меня подальше! Это — профанация чистого искусства.

Тут совершенно неожиданно подал голос оправившийся уже от обиды Горчаков:

— А почему бы нам не выбрать ради царского праздника какую-нибудь патриотическую пьесу? Ведь вот на Александрийской сцене в Петербурге, я слышал, ставится к тому дню новая пьеса "Ополчение"...

Иконников ударил себя по лбу.

— Экий ведь старый баран! Сам же давеча думал об этом, а теперь, вишь, из ума вон. Спасибо вам, милый вы мой, дорогой мой! Дозвольте в головку поцеловать...

И в порыве нежности он взял в обе руки голову князя, бережно приложился губами к приглаженному пробору его золотисто-белокурых волос и затем прибавил:

— Завтра же, с первыми петухами, пешешествую в Питер, чтобы

списать пьесу.

(Кроме своего ограниченного губернаторского жалованья, уходившего почти сполна на нюхательный табак, "гофманские капли" и другие лекарства, Иконников не имел никаких денежных средств, и потому, когда ему нужно было побывать в Петербурге, он почти всегда «пешешествовал», т. е. ходил пешком туда и обратно.)

На этом пока и порешили. Пушкин, еще малым ребенком игравший "в театр" с сестрицей своей Олей, словно был наэлектризован мыслью о предстоящем спектакле, вьюном вился около губернатора-театрала и закидывал его вопросами: где да как устроится сцена, будут ли настоящие декорации, рампа, суфлерская будка, занавес.

— Много будете знать — скоро состаритесь, — с улыбкой ответил Иконников. — Если в вас, друг мой, столько же сценического дара, сколько любительского огня, то из вас выйдет первый наш лицедей. По поводу же ваших вопросов замечу только, что дело не в обстановке, а в исполнении. Для примера приведу то, что я видел своими глазами. Прошлым летом мне удалось благодаря деду подсмотреть некий детский спектакль, что устроила у себя в Павловске императрица Мария Федоровна: заместо всяких кулис служили трельяжи, увитые зеленью, а на заднем фоне из-за зелени и цветов белел бюст самой государыни. И дивно вышло, я вам доложу! — такая прелесть, что пальчики расцеловать! Отчего бы и нам не сделать что-нибудь в том же роде? И дешево и сердито. Но как бы то ни было, а гостей на пище святого Антония оставить едва ли будет удобно. Как вы полагаете, господа?

— Еще бы! Разумеется! — согласились лицеисты. — Ведь и дамы, и девицы будут?

— Надеюсь. Разошлем, по крайней мере, пригласительные повестки всей здешней знати. Так вот, изволите видеть, потребуются некоторые расходы. Не учинить ли нам для сей цели добровольную складчину?

Последнее предложение было принято точно так же единодушно, только один Пушкин промолчал и даже нахмурился. Когда члены совещания, радостно болтая, стали расходиться, он один поплелся к себе повеся нос.

— Что это ты, будто в воду опущенный? — заметил ему с порога своей камеры друг и сосед его Пуцин.

Пушкин пробурчал только что-то непонятное и захлопнул за собою дверь.

Полчаса спустя, когда Пуцин улегся уже в постель и начал читать на сон грядущий какой-то новый журнал, до слуха его вдруг донеслись из-за

тонкой стенки соседней камеры всхлипывания и вздохи. В изумлении он опустил книжку и стал прислушиваться. Не было сомнения: Пушкин плакал навзрыд.

— О чем это, Пушкин? — с участием спросил он.

Ответа не было, но всхлипывания стали тише и глуше, как будто рыдавший уткнулся лицом в подушку.

— Кто тебя опять обидел? — не отставал со своим допросом Пуштин.

— Никто... замолчи, пожалуйста... услышат... — донесся наконец раздраженный ответ.

— Ума не приложу! — продолжал Пуштин. — Только что ведь радовался, как ребенок, что будешь «лицедействовать», а теперь...

— А теперь не буду, ни за что не буду!

— Да почему же? Ага! Понимаю, все та же история: тебе ведь из дому в последний раз деньги прислали только к Пасхе, и у тебя уж ни гроша для складчины не осталось?

— Может быть...

— Не "может быть", а наверное так. У меня самого кошелек теперь тоже как есть пустыня Сахара. Придется попризанять у кого-нибудь. Почему бы и тебе не занять?

— Нет, я и то уж должен тебе...

— Да Горчаков, например, сколько угодно будет ждать; он всегда так рад помочь...

— Нет, у Горчакова-то я уж ни за что ни гроша не возьму!

— Вот те на! Что он тебе сделал?

— Ни-ни! Он на меня дуется.

— За что?

— За то, что я давеча хотел его замуж выдать.

Пуштин рассмеялся.

— Пустяки! Ты, брат, судишь по себе. Он добрейший малый...

— А я злющий? Благодарю за комплимент!

— Да уж что греха таить: ты чересчур... не знаю, как деликатнее выразиться... не то горд, не то злопамятен...

— И прекрасно! И не связывайся тогда со мной!..

— Вот и обиделся опять!

— Ни слова больше! Не мешай мне спать!

— И то правда, проспись, душа моя: утро вечера мудренее. А я — поверь моему дружескому слову — так ли, сяк ли, а улажу дело.

На следующее утро Пуштин действительно «уладил» было дело. Когда Пушкин явился к Иконникову и объявил о своем решении не участвовать в

спектакле, то, к великому удивлению своему, услышал, что за него внесена уже Пушциным довольно крупная сумма. Очевидно, тот занял ее для него. Повторив еще раз свой отказ, Пушкин побежал распушить своего коварного друга.

— Кто тебя поставил нянькой надо мной? — напал он на него. — Кто дал тебе право вмешиваться в мои дела?

— Дружба наша, — с сердечной искренностью отвечал Пуцин. — Я занял у Горчакова лично для себя...

— Как? У Горчакова? — закипятился еще пуще прежнего упрямец. — После того как я тебе сказал, что от него-то именно и не приму никакого одолжения, ты насильно делаешь меня его должником! Так вон она какова — твоя дружба?

— Клянусь тебе как перед Богом, что я и не заикнулся о тебе. Я взял у него деньги только для себя, а ты уж бери их у меня.

— А кто тебе сказал, что я у тебя возьму? Я и так по горло у тебя в долгу, Пуцин.

— О долгах между нами не может быть и речи: что мое — твое.

— Вот как! На твою долю, значит, долги, а на мою — деньги? И ты думаешь, я так и приму эту милостыню?..

— Ты ужасно упрям, Пушкин...

— Да, упрям! И ты мог бы, кажется, это знать. Прежний долг мой тебе я при первых же деньгах возвращу, а в театре все-таки не приму участия.

— Но почему?

— Потому что, раз отказавшись, от слова своего уж не отступлю. Довольно, не мучь меня!

И точно, как Пушкина ни убеждали после того товарищи, он настоял-таки на своем: не принял никакого участия в спектакле.

## Глава XVII

### Театральная горячка и роковой исход ее

*Стремглав лечу, лечу, лечу,  
Куда, не помню и не знаю;  
Лишь встречным звездочкам кричу:  
Правей!.. и наземь упадаю.*

*"Гусар"*

Приготовления к спектаклю между тем шли своим чередом. Директор Малиновский тотчас же дал свое согласие на эту затею. Надзиратель Пилецкий заметил было, что не мешало бы на всякий случай заручиться формальным разрешением министра, который Бог весть еще как взглянет на дело; но всегда уступчивый Василий Федорович на этот раз коротко ответил, что цель здесь вполне оправдывает средства и что всю ответственность он берет на себя.

— Я умываю руки! — отозвался Пилецкий и был, как оказалось впоследствии, прав.

Гувернер-режиссер как обещал, так и сделал: на следующее же утро прогулялся пешком в Петербург и без особенных затруднений благодаря своему деду, актеру Дмитревскому, добыл там список с новой пьесы Висковатова «Ополчение». Вернувшись назад в Царское, он первым делом прочитал вслух пьесу намеченным им актерам, затем по взаимному соглашению распределил между ними роли и, наконец, поручил каждому из них написать себе свою роль. Но так как пьеса эта не заполнила бы целого вечера, то после нее должна была идти другая, собственного изделия Иконникова "Роза без шипов", а для финала все действующие лица должны были пропеть его же сочинения патриотический гимн.

Все время вплоть до 30 августа прошло у лицеистов в лихорадочных хлопотах. С утра до позднего вечера по лестницам, коридорам и переходам лицейским шла непрерывная болтовня и беготня, носился запах столярного клея и масляных красок, ежеминутно напоминавший о готовящемся торжестве и поддерживавший тем общее возвышенное настроение. Одною из труднейших задач был вопрос о приличной обстановке пьес. Но Иконников, еще живо помня то отрадное впечатление, которое он вынес от

безыскусственной обстановки виденного им в прошлом году детского спектакля в Павловском дворце, разрубил одним взмахом Гордиев узел. Занавес, рампу, кулисы и все прочее должны были просто-напросто заменить размалеванные раздвижные ширмы; а для костюмов самым удобным и дешевым материалом могли служить казенные шинели. Деревянные рамы для ширм соорудил в своей камерке лицейский столяр (он же один из сторожей-инвалидов), а расписывание ширм красками было поручено записному живописцу — лицеисту Илличевскому, который, будучи немало польщен такою честью, видимо щеголял своими перепачканными в красках руками и платьем. Все приспособление казенных шинелей к требовавшейся для первой пьесы ополченской форме заключалось в том, что шинели были выворочены наизнанку и обшиты лицейским портным на живую нитку кумачом да фольгой. Неудивительно, что около этих трех мастеров всегда толпилась кучка зрителей-лицеистов. Сам режиссер в сопровождении нескольких приспешников из них же то и дело бегал в Гостиный двор за разными бутафорскими принадлежностями и распоряжался всеми мелочами для предстоящего праздника. Более всего, однако, занимали всех ежедневные репетиции. Сколько было тут смеху и шуток! Зато под конец дня, расходясь по своим углам, каждый еле волочил ноги и валился на постель счастливый и довольный.

Единственным исключением являлся Пушкин. Наскоро опорожнив своей стакан утреннего чаю, он убежал с книгою под мышкой куда-нибудь подальше от общей кутерьмы, в самую глушь парка. Из всех товарищей только Пущин понимал его душевное состояние и не докучал ему расспросами. Дельвигу и другим он отвечал одно:

— Как это у вас самих хватает терпения заниматься таким ребячеством?

Наконец наступил и день спектакля. Покончив с генеральной репетицией, молодые актеры, полные внутренней счастливой тревоги, уселись только что за обед, как доктор Пешель ворвался к ним с вестью о Бородинской победе. Как уже рассказано выше, весть эта была принята всеми лицеистами с особенным энтузиазмом, актеров же так ободрила, что они нисколько не сомневались теперь в блестящем успехе вечернего их дебюта.

Треть лицейского актового зала была отгорожена ширмами для сцены; остальное пространство было заставлено креслами и стульями. Шторы в окнах были спущены, и бесчисленные восковые свечи в люстрах и канделябрах обливали своим светом стекавшуюся сюда празднично разряженную публику. За полчаса до назначенного для спектакля времени



все решительно места были уже заняты. Неучаствовавшие в представлении лицеисты и большая часть начальствующих лиц слонялись около стен и колонн. Становилось жарко, как в битком набитом улье; от смешанного говора присутствующих в воздухе слышалось неумолкаемое, словно пчелиное, жужжанье, а из-за размалеванных ширм доносились звуки передвигаемой мебели и молодых голосов, покрываемых иногда густым, осиплым басом гувернера-режиссера.

Но вот шум на невидимой сцене умолк; раздался тонкий звон серебряного колокольчика — и ширмы раздвинулись. Дельвиг, не игравший ни в одной из пьес, стоял в числе других товарищей-зрителей, прислонясь к противоположной стене, и только теперь заметил, что Пушкина все еще нет с ним. Утром он поздравил его с днем ангела, и тот с благодарностью молча пожал ему руку, а потом, по обыкновению, ушел. К обеду он хотя и явился, но затем опять как в воду канул.

Дельвиг протиснулся к выходной двери и отправился отыскивать отсутствующего. Но напрасно обежал он все здание лица, окликая друга-поэта: отклика не было; никто из дядек и сторожей также не видел пропавшего, и Дельвиг поневоле должен был бросить свои поиски. Когда он вернулся в зрительный зал, половина первой пьесы была уже сыграна.

Вполне понятная и простительная робость юных «лицедеев» в начале представления вскоре уступила место одушевленной развязности. Недаром опытный режиссер заставлял каждого из них на репетициях повторять по несколько раз наиболее бьющие в глаза движения, наиболее поражающие слух фразы. А Илличевский, на которого была возложена самая выдающаяся роль — деда-ветерана, исполнял ее с таким одушевлением, что оживлял и других исполнителей.

— Ай да молодец мужчина! Хоть бы самому деду моему Дмитревскому под стать! — похвалил его в антракте Иконников, от удовольствия то и дело прихлебывая из скляночки "гофманские капли". — За твое здоровье, голубчик! Поди сюда, я тебя расцелую!

Более других актеров конфузился князь Горчаков, потому, конечно также, что был в женском платье. Но это как раз подходило к его роли — молоденькой, застенчивой невесты; а хрустально-звучный альт, которым пропел он заключительный дуэт со своим суженым, довершил производимое им обаяние и привлек к нему окончательно симпатии зрителей. Когда задвинулись опять ширмы и начались бесконечные вызовы актеров, имя маленького князя выкрикивалось даже громче, чем имя славного Дмитревского-Илличевского, а расчувствовавшийся Иконников заключил его так крепко в свои объятия в гардеробной, что бедняжка даже

пискнул от боли.

Вызовы только тогда утихли, когда обер-провиантмейстер Леонтий Кемерский со своими официантами-сторожами стал протискиваться между рядами стульев с чайными подносами.

— А Пушкина все нет как нет! — беспокоился Дельвиг и обратился к проходившему мимо Леонтию: — Не видал ли ты, братец, Пушкина?

— Никак нет-с, ваше благородие. Я так смекаю, не с ахтерами ли он? Да вон, спросите-ка всего лучше у Сазонова, а мне, батюшка, ей-ей, некогда.

Сазонов был младший из дядек, которого приставили к ширмам, чтобы раздвигать и сдвигать их. В эту минуту безбородое лицо его с клювообразным, острым носом только что промелькнуло из-за края одной ширмы. Дельвиг пробрался кое-как за колоннами к сцене и тихонько кликнул Сазонова. Птичий нос высунулся оттуда.

— Чего изволите?

— Не видел ли ты Пушкина?

Сазонов только усмехнулся, покосился назад и подмигнул одним глазом.

— Так он там, за тобой, что ли?

Дядька молча поднес палец к губам и скрылся за ширмой.

"Что бы это значило? — недоумевал Дельвиг. — К чему эта таинственность?"

А дело было в том, что, когда прекратились вызовы актеров и те удалились в гардеробную, чтобы переменить костюмы для следующей пьесы, Сазонов, перестанавливая придвинутый к колонне диван, увидел спрятавшегося за ним Пушкина. В первую минуту дядька разинул даже рот от удивления, но вслед за тем так и прыснул со смеху и приложил с комической почтительностью два пальца к правому виску:

— Здравия желаем, ваше благородие! Хорошо ли все видели, слышали?

— Чш-ш-ш!.. — пригрозил, вскакивая, Пушкин.

— Не выдавать, стало? Не выдадим-с, не беспокойтесь. Только куда бы нам вашу милость теперь схоронить? За диваном-то, вишь, как пыльно! Позвольте маленько спинку отряхнуть. А вот, сударь, пожалуйста сюда, за ширму, мы вас еще стулом позадвинем: никто не приметит.

В эту-то самую минуту заботливого дядьку и окликнул Дельвиг; но он скрыл от него, где спрятался Пушкин.

Вторая пьеса — "Роза без шипов" — началась едва ли не удачнее еще первой. Но вдруг, как на грех, у одного из лицеистов-актеров, Маслова, от

внутреннего волнения, должно быть, пошла носом кровь, и он, прижав к лицу платок, бросился опроретью со сцены. Прочие исполнители до того растерялись от такой неожиданности, что стали заикаться, сбиваться. Заправила-гувернер, зорким глазом наблюдавший из-за дверей гардеробной за своими подчиненными, буркнул что-то, выскочил на сцену и продолжал роль сбежавшего актера с той самой фразы, на которой тот оборвал ее. Но впопыхах и по обычной своей рассеянности он не сообразил, что он не гримирован, не костюмирован и что поэтому не только публика, но и остальные актеры не догадаются, кого он изображает. Последние совсем стали в тупик и не пикнули уже ни слова; а так как молчать — значило сразу провалить пьесу, то Иконников продолжал говорить, все более и более увлекаясь своим собственным неистоцимым красноречием.

По зрительному залу пробежал сперва сдержанный шепот; но когда режиссер-актер уже высказал все содержание пьесы и загородил явный вздор, — там и сям послышался веселый смех, а из задних рядом раздалось чье-то довольно громкое ироническое замечание:

— Зарапортовался!

Это ужасное слово бесповоротно решило судьбу спектакля. Иконников, до слуха которого оно также донеслось, не только не сконфузился, но даже произнес самоуверенным тоном:

— Да-с, государи и государыни мои, верно-с: зарапортовался! Но не забудьте, прошу вас: экспромтом-с!

Затем, подбоченясь одною рукою, он другою взьерошил себе вихор на макушке и окинул сидевшую перед ним посмеивающуюся толпу вызывающим взглядом. Неизвестно, чем бы еще разразился он, если бы спрятанный за сценой Пушкин не вмешался в дело. Выскочив из засады, он живо взял Иконникова под руку и насильно увел со сцены.

— Вы нездоровы, Александр Николаич, пойдете! — уговаривал он его и крикнул в дверях Сазонову: — Задвигай ширмы!

В гардеробной бедный режиссер со стоном повалился на стул. Пушкин поспешил налить ему стакан воды; тот выпил его залпом и, задыхаясь, пропыхтел только:

— Еще...

Опорожнив и второй стакан, он молча протянул его опять Пушкину и только после третьего стакана, едва переводя дух, поднял на ухаживавшего за ним мальчика полные слез глаза и заговорил совершенно упавшим голосом:

— Вот тебе и "Роза без шипов"! А шип-то в самое сердце пронзил, убил наповал! Я, право, кажется, помешаюсь...

— Вы просто нездоровы, Александр Николаич...

— Нет, дружок, не то... Все, видно, эти проклятые "гофманские капли"... А гости-то наши — Боже праведный! Что они подумают? Вона, гам какой, хохот, скрежет зубовой! Милый мой! Бегите, Христа ради, скажите им что-нибудь, успокойте...

Пушкин побежал на сцену, выступил из-за ширмы, вежливо и ловко шаркнул ножкой и обратился к волнующимся зрителям по-французски с такими словами:

— Не взывайте, милостивые государыни и государи, за невольный перерыв: у одного из наших актеров, Маслова, пошла носом кровь; режиссер наш хотел было его заместить, но вдруг почувствовал себя дурно. Таким образом, к крайнему нашему прискорбию, пьеса эта не может быть доиграна. Третья же и последняя часть программы — хоровое пение — во всяком случае будет исполнена.

Отвесив опять глубокий поклон, он отретировался за ширмы. Находчивость мальчика и его бойкая французская речь вызвали дружные рукоплескания. Еще более сгладилось дурное впечатление, когда лицейские официанты начали разносить новое угощение — фрукты и "студенческий овес" ("Studehntenhafer"), т. е. миндаль и изюм, чтобы заткнуть поскорее крикливые глотки. Когда же опять раздвинулись ширмы и хор молодых актеров уже в своей лицейской форме согласно пропел финальный гимн, слушатели, по-видимому, окончательно примирились со спектаклем и, как после первой пьесы, стали громко вызывать всех исполнителей.

— Дирижера! — крикнул насмешливо чей-то голос.

# Глава XVIII

## Война 1812 года

### *Второй период*

*Пылай, великая Москва!  
...Благослови Москву, Россия!*

*"Наполеон"*

*О, поле, поле, кто тебя  
Усеял мертвыми костями?*

*"Руслан и Людмила"*

Вслед за окончанием Бородинской битвы, когда не успели еще определить потери нашей армии, главнокомандующий князь Кутузов под свежим впечатлением одержанного успеха издал приказ о новом наступлении, чтобы окончательно разгромить вражьи полчища. Но к утру следующего же дня выяснилось, что целой половины нашей армии уже не существует, а другая половина до того измучена и расстроена, что о немедленном наступлении не может быть и речи. Между тем Наполеон, встретив такой упорный отпор, наверно не станет ждать, пока войска наши оправятся, а пойдет напролом, чтобы во что бы то ни стало завладеть Москвой. Таким образом, вопрос сводился к тому, что принести в жертву: остатки ли нашей армии или Москву?

После продолжительного совещания со своими генералами в деревне Филя Кутузов, видя, что соглашения между ними не состоится, решил принять ответственность на себя и приказал отступить. Всю ночь после того старик-фельдмаршал скорбел душой и не смыкал глаз; приближенные его слышали, как он вплоть до зари то стонал, то плакал.

Но подробностей этих никто в России не знал, и потому громовая весть о том, что Москва без выстрела отдана французам, смертельным воплем пронеслась по всему лицу земли Русской.

— Москва взята! — с горечью твердили и лицеисты. — Ну, теперь

конец...

Да, то был конец, но конец не величию России, а счастливой звезде Наполеона, начавшей меркнуть уже под Бородиным.

2 сентября неприятели вступили в нашу древнюю столицу, а вечером того же дня в нескольких местах ее вспыхнуло пламя, которое, все разрастаясь, особенно вследствие поднявшейся в ночь с 3-го на 4-е число страшной бури, разлилось наконец по всему городу.

— Москва горит! — с ужасом повторялось теперь как везде и в отдаленном лице.

Но вскоре ужас сменился совершенно понятным, торжествующим злорадством, когда стало известно, что город был подожжен самими жителями. Профессор Кошанский не преминул по этому поводу рассказать в классе о такой же самоотверженности древних греков, которые при нашествии Ксеркса сами сожгли свои Афины.

О том, что происходило в сожженной Москве, сведения были очень сбивчивы и отрывочны, так как они получались по большей части только от пленных и перебежчиков. В одном, однако, все показания сходились: что целые кварталы Белокаменной обратились в груды развалин и пепла и что вся она не сгорела только благодаря проливному дождю, шедшему непрерывно почти двое суток и заливавшему пламя. Далее передавалось, что сам Наполеон со своим штабом едва спасся от смерти, когда между двумя рядами пылающих домов, под огненным дождем искр и головней, по раскаленным кирпичам и горящим балкам он стал пробираться из Кремля за город, в Петровский замок, и что, переселясь по прекращении пожаров, 8 сентября, опять в Кремль, он не узнал своей прежней образцовой армии: она превратилась в безначальную шайку грабителей-мародеров, или «мироедов», как перекрестил их наш народ. Посылавшиеся же за город за жизненными припасами французские фуражиры или возвращались ни с чем, или вовсе не возвращались, потому что перехватывались русскими. В это именно время стали формироваться из помещиков, отставных военных, а особенно из крестьян, партии нового типа добровольцев — «партизан», которые нападали на врага всегда из засады, врасплох. Кто не слышал о самом удалом партизане Денисе Давыдове? Но кроме него немалую известность заслужили себе и некий отчаянно храбрый дьячок, и старостиха Василиса, забравшая в плен целую партию французов.

— Слышали, господа, — рассказал лицеистам доктор Пешель, — что Наполеонишка уже второго гонца в Питер прислал: не желает ли государь наш помириться?

— Ага! Знает кошка, чье мясо съела! — говорили лицеисты. — А что

же государь?

— Государь по-прежнему отвечает ему гордым молчанием.

— Господа! Новая басня Крылова "Волк на псарне", — возгласил раз с кафедры Кошанский. — Вчера сам Крылов читал ее в Павловске императрице, а нынче мне оттуда прислали список с нее. Слушайте внимательно. Поймете ли вы, в чем тут соль, кто оный "волк на псарне"?

Ни одна басня нашего великого баснописца, понятно, не произвела до сих пор на мальчиков такого смехотворного действия, как эта, особенно когда они узнали впоследствии о том, как читалась она в армии Кутузовым в присутствии прибывшего к нему Наполеонова гонца. Не получая никакого ответа из Петербурга, император французов решился наконец обратиться с запросом и к нашему главнокомандующему: "Не пора ли кончить войну?"

Ответ на сей раз хотя и последовал, но самый странный: "Война еще не начиналась — она впереди".

Тогда был послан уже ближайший адъютант Наполеона с дополнительными инструкциями. Но тут как раз подоспела из Петербурга эта новая крыловская басня. Терпеливо выслушав парламентаря, старик фельдмаршал наш многозначительно переглянулся с окружающими и прочел наизусть ту часть басни, где ведутся мирные переговоры волка, попавшего вместо овчарни на псарню:

— Друзья! К чему весь этот шум?

Я ваш старинный друг и кум!

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры.

Забудем прошлое, уставим общий лад!

А я не только впредь не трону ваших стад,

Но сам за них с другими грызться рад,

И волчьей клятвой утверждаю,

Что я...

— Послушай-ка, сосед, —

Тут ловчий перервал в ответ, —

Ты сер, а я, приятель, сед...

При этих словах Кутузов, тонко улыбаясь, снял фуражку и указал на свои серебристые седины.

Свита не дала ему кончить и разразилась единодушным «ура», которое тут же было подхвачено незнавшими даже в чем дело часовыми и

громогласно прокатилось по всему лагерю.

— Слышите? — обратился фельдмаршал к посланному Наполеона. — При таком настроении войска можно ли думать о мире? Так и передайте вашему императору.

А вскоре после того под Тарутином русские, перейдя уже в наступление, разбили в пух и прах лучший из отрядов французских — корпус неаполитанского короля Мюрата и захватили весь обоз его.

Что оставалось тут делать волку — Наполеону? Оставалось одно: выбраться со псарни подобру-поздорову и бежать, бежать без оглядки.

6 октября из московских застав потянулись первые обозы французов, нагруженные награбленным добром и похожие скорее на цыганский табор, чем на прежнюю красу и гордость "великой нации" — Наполеонову армию.

В Царское Село известие о бегстве неприятеля пришло не ранее 19 октября, в самый день годовщины открытия лица, и было привезено не кем иным, как Александром Ивановичем Тургеневым. Пушкин, не видевший никого из родных и прежних знакомых чуть ли не целый год, побежал навстречу дорогому гостю с распростертыми объятиями. Но, не добежав пяти шагов, он вдруг устыдился своей детской радости, опустил руки и остановился как вкопанный.

— Ну что же? — спрашивал Тургенев с сияющей улыбкой, сам раскрывая ему объятия. — Поди, прижмись!

Мальчик порывисто припал к нему на грудь.

— О, как я соскучился!.. Никто-то мне из дому не пишет... Не знаю даже, живы ли, выбрались ли из Москвы...

— Живы, живы, дружок, успокойся. А что не пишут — мудреного тут ничего нет: правильной почты до сих пор не было. Только теперь, когда французы оставили Москву...

— Французы оставили Москву?! — прервал, не веря ушам, Пушкин.

— Да, и бегут, как травленный зверь. Теперь, говорю я, пути сообщения опять восстановились. Вчера еще я получил весточку от князя Вяземского о твоих родителях...

— Ну что? Где они?

— Они с весны еще гостят в Остафьеве, у Вяземских, и почти все добро свое успели заблаговременно вывезти из Москвы. Вот дяде твоему Василию Львовичу менее посчастливилось. Вяземский выслал мне два подлинных письма, полученные им из Нижнего. На вот, прочти сам.

Пушкин с лихорадочною поспешностью пробежал сперва одно письмо, потом другое. Первое было от поэта Батюшкова, помеченное 3 октября.



"Здесь я нашел всю Москву, — писал Батюшков. — Александр Михайлович Пушкин<sup>[16]</sup> плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей; Василий Львович забыл в Москве книги и сына; книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга. От печали Пушкин лишился памяти и насилу мог прочитать Архаровым<sup>[17]</sup> басню о «Соловье». Вот до чего он и мы дожили! У Архаровых собирается вся Москва или, лучше сказать, все бедняки: кто без дома, кто без деревни, кто без куска хлеба, и я хожу к ним учиться терпению. Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: "Point de paix!" (Все кончено!)

Второе письмо к князю Вяземскому от самого Василия Львовича Пушкина гласило:

"..другой Москвы не будет... Я потерял в ней все движимое мое имущество. Новая моя карета, дрожки, мебель и драгоценная моя библиотека — все сгорело. Я ничего вывезти не мог: денег у меня не было, и никто не помог мне в такой крайности...

Ты спрашиваешь, что я делаю в Нижнем Новгороде? Совсем ничего. Живу в избе и хожу по морозу без шубы, а денег нет ни гроша. Вот завидное состояние, в котором я теперь нахожусь! Алексей Михайлович, однофамилец мой, кричит громче и курит табак более прежнего...

Посылаю тебе стихи мои к жителям Нижнего Новгорода".

Улыбаясь сквозь слезы, прочел племянник бедного погорельца оба письма, прочел и приложенное к последнему стихотворение, каждый куплет которого начинался тяжеловесным двустишьем:

Примите нас под свой покров,  
О, волжских жители берегов!

— Стихи с голодухи, как видишь, тоже хромают, — заметил Тургенев. — Друг наш Дмитриев по поводу их сострил довольно зло, что милейший Василий Львович похож на колодника, который под окном христарадничает, а сам с бранью оборачивается к уличным мальчишкам (т. е. к французам), что дразнят его.

— И вам, Александр Иваныч, не жаль дяди? — укорил Пушкин.

— Сердечно жаль, — был искренний ответ. — А все же много других несчастнее его. И знаешь ли, Александр, кто, быть может, заслуживает наибольшего сожаления?

— Кто?

— Наши враги, французы.

— Эти изверги!

— Друг мой, не забывай, что Спаситель простил и великую грешницу, и разбойника на кресте за их чистосердечное покаяние. А французы, поверь мне, каются теперь как никто. И виноваты ли они? Могли ли они не следовать за своим государем, за своим кумиром, в которого верили слепо, как в божество? И вдруг — неожиданное падение его с высоты! Вместо новых побед он постыдно бежит, а по его следам, как стадо баранов, сломя голову бегут и они, чтобы хоть жизнь-то свою спасти.

— Но Москва...

— Москва, как феникс, возникнет из пепла, и зарево ее осветит наш путь к Парижу.

Как верно предугадал будущее дальнорский Тургенев — в этом Пушкин ежедневно все более и более убеждался и в то же время не мог преодолеть в себе тайного сочувствия к несчастному "стаду баранов", преследуемому нашим войском.

Тщетно Наполеон пытался пробиться в наши хлебородные губернии: каждый раз его отбивали с уроном, и волей-неволей он должен был возвращаться на старый смоленский путь, в места, уже прежде разоренные им самим. Казаки неотступно кружили около бегущих, отбивали у них обоз за обозом. Крестьяне-партизаны с топорами, вилами, косами, среди густой лесной чащи нападали на них врасплох, перебивали их поодиночке.

А тут во второй половине октября повалил густой снег, затрещали настоящие русские морозы. Ни тулупов, ни обуви для солдат своих Наполеон не догадался вовремя припасти, — и вот им пришлось кутаться от холода во что попало: и в дорогие шелковые ткани, захваченные с собой из московского Гостиного двора, и в золотые ризы, похищенные из православных храмов, или просто в какое-нибудь ватное одеяло с прорезанною для головы дырой; ноги же они обматывали лохмотьями истасканных казенных мундиров.

Лошади, не различая дороги за сугробами снега, падали в канавы, причем увлекали за собой и экипажи, и орудия; изнуренные донельзя бескормицею, они падали и умирали, а обезумевшие от голода вожатые тут же накидывались на падаль, рвали ее и пожирали, не давая себе даже труда хорошенько прожарить мясо. Наскоро насытятся, эти полулюди-полузвери плелись далее, но недолго: в изнеможении они падали в снег, а вьюга заживо еще заносила их своим белым саваном. На привалах французов, вокруг тлеющих еще костров, наши войска находили груды окоченевших трупов, от которых, при приближении их, живых людей, отлетали с

карканьем вороны, отбегали с ворчанием одичалые псы, следовавшие по пятам за гибнувшей армией от самых ворот Москвы.

Она таяла, эта армия, таяла со дня на день, делалась жертвой стихий и непредусмотрительности ее надменного вождя. А сам этот вождь, этот полубог — что случилось теперь с ним! Он, как истукан, рухнул со своей высоты! Никто уже не слушался его; окружающие только стерегли, как бы он не ускользнул вперед; а когда он, чтобы не быть узванным, вздумал назваться Коленкуром, свита исподтишка трунила над ним, называя его "Colin qui court". [\[18\]](#)

Лицейскому профессору французу де Будри, который за время войны совсем стушеввался и стал тише воды ниже травы, пришлось тоже услышать этот каламбур и, конечно, ни от кого иного, как от неисправимого школьника Гурьева. Старик побледнел как полотно, крупная слеза скатилась по его морщинистой щеке; но он не вымолвил ни слова, а только вышел из класса. Зато насмешнику досталось-таки от Пушкина и прочих товарищей!

Они перестали ликовать по-прежнему, когда чаша страданий бегущего неприятеля переполнилась, когда под убийственным огнем наших орудий последние воины победоносной "великой армии" нашли могилу в ледяных волнах Березины и из полумиллионного полчища, победоносно перешедшего за полгода перед тем границу русскую, перебралось обратно за нее не более одной тысячи калек-мародеров.

Теперь Пушкин уже не мог сомневаться в верности предсказания Тургенева о вступлении наших войск в Париж, что действительно и совершилось спустя год с небольшим — 19 марта 1814 года.

## Глава XIX

### Стихотворные шалости

*О чем, прозаик, ты хлопчешь?  
Давай мне мысль какую хочешь:  
Ее с конца я заострю,  
Летучей рифмой оперю,  
Вложу на тетиву тугую,  
Послушный лук согнув в дугу,  
А там пошлю наудалую -  
И горе нашему врагу!*

*"Прозаик и поэт"*

Боевая гроза прошла, громы орудий смолкли. Взбудораженная извне лицейская жизнь попала опять в старое русло и потекла по-прежнему — ровно, невозмутимо, журча лишь слегка по временам от встречных небольших подводных камней или от налетного утреннего ветра!

Так, между прочим, оживлению однообразия школьного быта немало способствовало открытие в 1813 году профессором Гауеншильдом подготовительного заведения к лицейю. В первое время заведение это помещалось в наемном доме, в предместье Царского Села — Софии; но вскоре оно было переименовано в "благородный лицейский пансион" и переведено в казенный дом рядом с лицеем, после чего лицеисты с пансионерами виделись ежедневно. В числе пансионеров в том же 1813 году был принят и младший брат Пушкина, Лев. Совсем оторванный до тех пор от родной семьи, Александр, понятно, был немало рад этому, но, подобно другим лицеистам, находил нужным относиться к "мальчишкам"-пансионерам, в том числе и к младшему своему брату, с покровительственным снисхождением. Ведь те и двух строк-то рифмованных связать не умели!

А поэтические опыты самих лицеистов все продолжались. К тому же возбужденная в них отечественною войной восторженная любовь к родине сблизила их еще более, как бы сроднила между собой, и в новом лицейском журнале "Юные пловцы" уже мирно уживались прежние литературные соперники: Илличевский и Пушкин. Впрочем, первому из них по-прежнему

отдавалась пальма первенства как товарищами, так и профессором Кошанским. В стихотворстве на заданные темы, где требовалось не столько вдохновение, сколько запас рифм, он действительно опережал Пушкина, и упрочению его славы по этой части немало способствовал следующий случай.

Однажды на уроке "стихотворных упражнений" лицеисты должны были описать восход солнца. Самый простоватый и малоспособный из них, Мясоедов, перецеголявший товарищей разве только в одном — в обжорстве, чем заслужил себе кличку Мясожоров, обратился шепотом к общепризнанному уже поэту Илличевскому, сидевшему впереди него:

— Будь друг, Олосенька, выручи! Одну-то, первую строчку я сочинил, но дальше, хоть убей, ни с места...

Тот принял от него из-под лавки тетрадь, прочел написанное, минутку подумал, усмехнулся и живо дописал четверостишие.

— На, получи! Но, чур, не пенять.

— Спасибо, голубчик! — искренно поблагодарил Мясожоров и в радости своей, что так скоро устроил дело, не дал себе даже труда перечесть приписку, а с торжествующим видом замахал по воздуху тетрадкой.

— Николай Федорыч, и я настрочил-с!

— И вы? — изумился Кошанский. — Вы, Мясоедов, сырый и убогий, туда же воссели на крылатого Пегаса?

— А что же-с? Отчего бы и мне на нем хоть раз не прокатиться?

— Правильно, бывает, что и блоха закашляет, что и курица петухом запоет. Лишь бы не выпасть вам из седла. Покажите сюда.

Профессор только заглянул в тетрадку, как закусил губу, чтобы не выдать своей веселости; прочитав же еще раз, остановил на минутку глаза на Илличевском и обратился затем опять к самозванному автору стихов:

— Итак, эти стихи, Мясоедов, говорите вы, вашего собственного изделия?

— Собственного-с! — был самодовольный ответ.

— И мысль, в них выраженная, также ваша?

— А то как же-с?

— Поздравляю! До сей поры, государи мои, весь мир ученых был иного мнения, извольте видеть, что солнце может восходить с одной лишь стороны света — с востока. А ныне оказывается, что мнение это превратно. Достойному нашему молодому ученому, синьору Мясоедову, принадлежит честь открытия сего великого феномена:

Грядет с заката царь природы...

Весь класс залился смехом, а наивный Мясоедов, лишь теперь смекнувший, что опростоволосился, покраснел, но не только не упал духом, а напротив, — до ушей ослабился и огляделся кругом.

— А что, не остро разве?

— Остро, но обоюдоостро, — осадил его тут же профессор, — стих этот вы просто-напросто украли.

— Украл?

— Да, синьор, у синьоры Буниной, доморощенной тоже поэтессы, у коей одна элегия начинается точно так же:

Блеснул на западе румяный царь природы... [\[19\]\[20\]](#)

— Значит, все же не совсем так, как у меня! — обрадовался уличенный поэт-воришка. — А остальные три строки зато уж как есть мои.

— Так ли?

— Чтобы мне провалиться на этом месте!..

— Ой, провалитесь... Читать дальше или нет?

— Читайте.

— Сама себя раба бьет, что не чисто жнет. Я умываю руки. Итак:

Грядет с заката царь природы,

И изумленные народы

Не знают, что начать:

Ложиться спать или вставать?

Теперь стекла в окнах задребезжали от громогласного хохота молодых слушателей.

— Ай да Мясожоров! Отличился!

Самодовольная улыбка на губах Мясожорова так и застыла в виде кисло-сладкой гримасы.

— Вот это, точно, остро, — заговорил опять Кошанский. — Недаром соученики ваши загрохотали. Но в сей последней остроте вы неповинны, яко младенец новорожденный. Виден сокол по полету. Прибавка оная ваша ведь, Илличевский, а?

— Моя, каюсь, — не без тайной гордости сознался подлинный автор.

— За поведение надлежало бы вам баллика два сбавить. Ну, да экспромт ваш был столь изряден, что на сей раз грех вам отпускается: грядите с миром.

Такой успех случайной шутки до того поощрил Илличевского, что он с этого времени стал преимущественно упражняться в подобного рода

стихотворных шалостях; а Мясоедов, с своей стороны, позаботился дать ему для того еще новую пищу. Желая отплатить насмешникам-товарищам и доказать им, что он может, коли захочет, и сам сложить пару-другую рифмованных строк, Мясоедов написал целую басню «Ослы». Но басня эта, прочитанная им вслух в классе Кошанского, вызвала со стороны последнего вместо похвалы только следующую нелестную цитату из Державина:

Осел останется ослом,  
Хотя осыпь его звездами;  
Где должно действовать умом,  
Он только хлопает ушами.

С этих пор чуть только, бывало, Мясоедов разинет рот, чтобы высказать что-нибудь, — его перебивали словами:

Осел останется ослом!..

А Илличевский, успевший, как уже сказано, заявить себя искусным рисовальщиком, в ближайшем же номере нового лицейского журнала "Лицейский мудрец" нарисовал карикатуру, изображавшую Мясоедова в дурацком колпаке с ослиными ушами, и с следующей подписью внизу:

О чем ни сочинит, бывало,  
Марушкин, борзый стихотвор,  
То верь, что не солжешь нимало,  
Когда заране скажешь: вздор!  
Марушкин об ослах вдруг басню сочиняет,  
И басня хоть куда! Но странен ли успех?  
Свой своего всех лучше знает,  
И следственно опишет лучше всех.

Марушкин-Мясожоров, однако, вкусив раз от древа поэзии, не думал еще сложить оружие и знай продолжал кропать басню за басней. Когда же и эти не нашли себе хвалителей и издатели "Лицейского мудреца" наотрез отказали ему принять их в свой журнал, непризнанный поэт тщательно

перебелил свои писания в особую, нарядную тетрадь, которую озаглавил:

### **ХОТЬ ХУДО, НО СВОЕ**

Илличевский и тут не дал ему покоя, и в следующем номере «Мудреца» появилась такая эпиграмма:

Ты выбрал к басенкам заглавие простое:

*Хоть худо, но свое.*

И этак хорошо, но этак лучше вдвое:

Что худо — то твое,

Что хорошо — чужое.

И прочие лицейские сочинители пустились теперь взапуски с Илличевским строчить эпиграммы; но только Пушкин один мог соперничать с ним; стихотворные шутки его были нередко еще более тонки и колки, чем у Илличевского.

К сожалению, дело не ограничилось эпиграммами. На мотив облетевшей в 1812 году всю Россию патриотической песни Жуковского "Певец во стане русских воинов" лицеисты стали распевать новую, собственного сочинения "национальную песню", в которую, само собой разумеется, угодил опять-таки профессор-немец Гауеншильд. Он вошел однажды в класс вместе с директором в ту самую минуту, когда шалуны под управлением Гурьева распевали хором сатирические куплеты, сочиненные ими на его счет. Гурьев, стоя на кафедре, махал в такт руками, как дирижерской палочкой.

— Вы сами теперь изволите слышать, ваше превосходительство! Что прикажете делать с этими сорванцами? — обратился Гауеншильд по-немецки к директору, трясаясь от негодования, как в лихорадке.

Малиновский окинул школьников печальным взглядом и объявил затем:

— Как мне ни прискорбно, господа, воспретить вам заниматься поэзией, тем более что между вами, как уверяет Николай Федорыч, есть недюжинные таланты (взоры его скользнули при этом по Илличевскому и Пушкину), но я вижу, что ничего иного не остается. Впрочем, окончательное решение вопроса будет зависеть от конференции.

— И только-то, ваше превосходительство? — возразил Гауеншильд.

— Безусловное воспреещение писать стихи и издавать журналы, поверьте мне, господин профессор, будет им чувствительнее лишения



всяких сладких блюд. А теперь вы, Гурьев, пожалуйста-ка сюда на расправу.

Спрятавшийся за кафедрой Гурьев вообразил было, что про него забыли, и с самым смиренным видом выполз теперь на свет Божий.

— Сколько раз я вас предупреждал, Гурьев, но вас, видно, как кривое дерево, не выпрямишь.

— Да что же я такое сделал, Василий Федорыч? Помилуйте! — плаксиво отозвался Гурьев.

— Как что вы сделали? Вы стояли на кафедре и в такт размахивали руками!

— Размахивал, потому что упрашивал товарищей не петь этих дерзких куплетов...

— Вот что я вам скажу, Гурьев: шалить в вашем возрасте извинительно; но лицемерить, лгать старшим в лицо и сваливать еще вину свою на других — бесстыдно и достойно примерного наказания. Вы в настоящем случае явно были первым зачинщиком, и поступок ваш также будет передан на суд конференции.

Такая непривычная со стороны добряка Малиновского строгость совсем ошеломила Гурьева; он вдруг разрыдался и готов был обнять ноги директора, чтобы только вымолить прощение.

— Мы все ведь виноваты, Василий Федорыч! — вступился тут Пушкин. — Простите и его на этот раз.

— Простите его! — подхватили прочие.

— Хорошо, так и быть, в последний раз, — смягчился, по обыкновению, Малиновский. — Но повторяю вам, Гурьев: берегитесь вперед!

Конференция при обсуждении предложения директора — воспретить впредь лицеистам писать стихи и издавать журналы — почти единогласно утвердила его предложение. Двое только — Кошанский и Куницын — старались выгородить поэтов, но в конце концов остались при "особом мнении". Им же лицеисты были обязаны, что к осени 1813 года строгая мера была негласно отменена. Тогда же был снят запрет и со спектаклей. В первом из них, устроенном в день лицейской годовщины, 19 октября 1813 года, приняли участие как Дельвиг, так и Пушкин.

## Глава XX

### Литературные розы и тернии

*Марает он единым духом  
Лист,  
Внимает он привычным ухом  
Свист...  
"История стихотворца"  
Уж эти мне друзья, друзья!  
Об них недаром вспомнил я.*

*"Евгений Онегин"*

А что же делала в течение запретного времени пушкинская Муза?

Она поневоле смирилась, но не бездействовала. С наступлением весны 1813 года прежние прогулки двух друзей-поэтов в тенистых аллеях царскосельского парка возобновились, а с ними и нескончаемые беседы о поэзии древней и современной. Одно время к ним примкнул было, или, вернее, навязался, еще и третий стихотворец, Кюхельбекер. Восторженный почитатель романтизма, процветавшего тогда в Германии, он успел уломать Дельвига сообщая с ним перечесть идиллии Геснера, баллады, оды и элегии Гёте. Но когда они приступили к «Мессиаде» Клопштока и имели неосторожность пригласить к участию в чтении и Пушкина, искусственная напыщенность творца «Мессиады» дала Пушкину такой богатый материал для колких замечаний, что Дельвиг сам заразился его насмешливостью, а Кюхельбекер с негодованием махнул на обоих рукой.

Пушкину, впрочем, было теперь вообще не до чужих писаний. От забившей его раз писательской лихорадки у него, как говорится, руки зудели: ему непременно надо было сочинять во что бы то ни стало, но только не какие-нибудь эпиграммы или бывшие тогда в моде "послания".

— Я чувствую в себе какую-то сверхъестественную силу! — сознавался он в минуты откровения Дельвигу. — Знаешь, вот как этот древний богатырь русский Святогор, который хотел укрепить в небе кольцо на железной цепи, чтобы за цепь ту перевернуть всю землю, — так точно и мне хотелось бы создать что-нибудь такое, чтобы весь мир ахнул! Трехтомный роман, что ли, пятиактную ли драму... Вот что, брат барон:

напишем-ка что-нибудь в компании.

— Что ты, Господь с тобой! — испугался Дельви́г. — И без меня найдешь себе немало компаньонов. Вот Яковлев, например, говорил мне как-то, что смерть хотелось бы сочинять вместе с тобой, но что не знает, как к тебе подступиться, потому что ты слишком горд...

— С чего он взял? Так ты, Тося, напрямик отказываешься?

— Да, уж избавь меня, душа моя, а Яковлеву ты доставишь большое удовольствие.

— Ну, нечего делать, попытаюсь хоть с ним.

Не прошло и месяца, как по рукам лицеистов стала ходить новая комедия "Так водится в свете", сочиненная компанией "Пушкин и Яковлев", а осенью, в один из царских праздников, она уже была разыграна на лицейской сцене.

Между тем Пушкин готовил товарищам новый сюрприз. С каким-то лихорадочным усердием перелистывал он по целым часам имевшиеся в лицейской библиотеке нравоописательные и философские сочинения и нередко поражал приятелей то любопытными подробностями о быте кочующих народов, то кудреватými учеными фразами.

— Откуда это у тебя? — недоумевали те.

Он только таинственно улыбался и отвечал коротко:

— Когда-нибудь да узнаете.

— Пушкин что-то грандиозное затевает, — шепотом передавали друг другу лицеисты.

"Грандиозное" действительно назревало, и доктор Пешель первый удостоился проникнуть в тайну. Пушкин встретился с Пешелем с глазу на глаз в коридоре и обратился к нему с убедительной просьбой отослать его в лазарет. Доктор пощупал у него пульс, потом взял его голову в руки и повернул лицом к свету.

— Гм... Пульс как будто лихорадочный, глаза тоже... Покажите-ка язык.

Мальчик едва не фыркнул ему в лицо.

— Да нет же, доктор...

— Покажите язык, говорю я вам!

Пушкин на вершок высунул язык: весь он был точно вымазан черной краской или сажей. От такой неожиданности доктор даже отскочил назад.

— Что это вы ели? — спросил он. — Чернику, что ли?

— Ах нет, это от чернил! — расхохотался Пушкин.

— Экий ведь школьник! Чернила пить далеко не безвредно.

— Ну вот я и отравился ими. Положите меня в лазарет.

— Да вы вправду больны?  
— Ужасно болен! Ой-ой, как в боку сейчас закололо!  
— А мы налепим вам здоровую шпанскую мушку, пропишем две порции касторки...  
— Нет уж, увольте, доктор! В лазарете я и без того живо поправлюсь.  
— Понимаю теперь вашу болезнь: "febris pritvoralis"? От уроков отлыниваете?  
— Нет, "febris poetica".  
— Ну, от той вернейшее средство — уши надрать.  
— Можете, если мой «Цыган» не удастся.  
— Ваш цыган?  
— Ах, проболтался! Ну да все равно, уж поведаю вам по секрету. Никто еще об этом не знает. «Цыган» — крестное имя моего будущего литературного детища — романа, ни более ни менее как в трех частях!  
— Что так много?  
— Мало, хотите вы сказать? Я до того, знаете, теперь начитался этих серьезных книг, до того набил себе голову умными мыслями, что они просто оттуда вон выпирают, так и рвутся вылиться на бумагу. А где время взять, когда эти противные уроки да и прогулки покоя не дают! Смилуйтесь, доктор! Я за вас весь век буду Богу молиться. Нарочно приглашу вас на крестины моего детища...

И смилостивился добряк доктор, отправил его в лазарет. Здесь навещавшие мнимого больного приятели, хотя и заставляли его как следует, в больничном халате и полулежащим на кровати, но всегда с бумагой около изголовья и с пером в руках. Напрасно допытывались они, что он пишет.

— Вот уж на Рождестве, когда будет Иконников, как раз кончу и прочту вам, — был всегда один ответ.

Но Илличевский, особенно заинтригованный таинственной работой опередившего его соперника по перу, украдкой утащил у него из-под изголовья ворох исписанных листков и к вечеру того же дня, когда Пушкин только что хватился пропажи, вернул ему их с самым лестным отзывом о глубине идей, проводимых в романе.

— Из тебя, право, выйдет новый Вальтер Скотт, — заключил он свой панегирик.

— Ну уж и Вальтер Скотт! — усмехнулся в ответ Пушкин, готовый было напустить на чересчур любопытного приятеля, но обезоруженный теперь его искреннею похвалой. — Ты, Илличевский, прочел пока одну первую часть; вот погоди, что скажешь дальше...

После этого вдохновение начинающего романиста еще более

окрылилось, и вторую часть он набросал в какие-нибудь три дня. По-видимому, она удалась ему еще лучше первой. Сначала он задумал написать три части; но третью можно было скомкать для ускорения дела в виде эпилога, а с эпилогом легко справиться и между делом.

И вот юный романист наш выписался из лазарета. К Рождеству, когда экс-губернер Иконников в самом деле навестил опять своих любимцев-лицеистов, роман украсился не только эпилогом, но и прологом.

В первый же вечер в камеру автора "на крестины" были приглашены избранные свидетели: из взрослых — Иконников да Пешель, из товарищей — четверо самых близких — Пушкин, Дельвиг, Илличевский и Корсаков. На столе горели две свечи; между ними заманчиво красовался поднос с незатейливыми сладостями: яблоками, леденцами, орехами и стручками. В печке трещал веселый огонь.

— Что печь затопили — хвалю, — говорил Иконников, становясь с раздвинутыми фалдами спиной к горящему пламени. — Имел глупость нынче не пехтурой, а конницей из Питера притащиться, ну и перемерз, что ледяная сосулька, не могу оттаять.

— Да вы бы, Александр Николаевич, присели к самому огню, — хлопотал около него молодой хозяин, придвигая ему, как председателю, нарочно добытое откуда-то продавленное вольтеровское кресло. — А вас, доктор, не знаю уж, право, где лучше пристроить...

— Не беспокойтесь: я тут вот, на краешке, — отвечал доктор, усаживаясь на краю кровати и закуривая сигару. — Материального довольствия у вас, я вижу, для всех припасено, а вот хватит ли духовного?

— Пара вещиц есть: одна — помельче, в стихах; другая — покрупнее, в прозе, — словом, чего хочешь — того спросишь. Правда, первой и сам я не придаю особенного значения: это не более как обычное "послание"...

— К кому?

— К другу стихотворцу.

Глаза всех присутствовавших, как по уговору, обратились на Дельвига. Но Пушкин поспешил разуверить их:

— Нет, я разумел не того или другого из друзей стихотворцев; каждый, кому угодно, может принять на свой счет.

Заглянув еще раз в коридор, где к дверям был приставлен часовым старик сторож, чтобы ни один непрошенный гость не ворвался в избранный кружок, Пушкин сел на середине кровати между двумя ближайшими друзьями, Пушциным и Дельвигом, разложил перед собой свои писания, видимо волнуясь, откашлянулся и, не глядя ни на кого, спросил:

— Прикажете начать?

— Чего же ждать? — откликнулся от печки Иконников. — Вы, знай, читайте, а мы, как кот крыловский, будем слушать да кушать.

— Итак, — начал Пушкин: -

Арист! И ты в толпе служителей Парнаса!  
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса...

Тщательно отделанные стихи этого, действительно, очень удачного стихотворения произвели на всех слушателей самое отрадное впечатление. Сам верховный судья Иконников незаметно придвинулся даже со своим креслом от огня к столу и вполголоса повторял наиболее хлесткие стихи, сопровождая их киванием головой.

— "На Пинде лавры есть, но есть там и крапива", — прогнусил он вслед за чтецом и, отсыпав себе в кулак из знакомой уже читателям коробки-тавлинки горсточку табаку, втянул его не спеша сперва в одну ноздрю, потом в другую. — О, как это верно!

Еще больше тронуло его поучение невоздержанного отшельника мужикам.

— Да, милые мои! — вздохнул он. — Аз, раб Божий, для вас тот же отшельник:

...как вас учу, так вы и поступайте;  
Живите хорошо, а мне не подражайте.

По окончании чтения торжество молодого поэта было полное. Товарищи наперерыв выражали ему свое восхищение, доктор молча протянул ему свою жирную руку и обдал его, как фимиамом, клубами сигарного дыма, а экс-гувернер вытащил его к себе из-за стола и, как медведь, крепко облапил.

— Ну утешил, душенька! Ты делаешь честь не одному лицу, а и всей матушке России. Не сердись, дружище, что я тебя «тыкаю», ты для меня теперь не чужой, а словно сын родной, сыновей же не "выкают".

Результат превзошел самые смелые ожидания Пушкина. Конфузясь своего чрезмерного успеха, он в то же время так и сиял от счастья.

— Да уж будто так недурно?.. — бормотал он, высвобождаясь из отеческих объятий Иконникова.

— Очень даже недурно, — подал теперь голос и доктор Пешель.

— Недурно?! — обидчиво вскинулся на последнего председатель. — Восхитительно, доктор, неподражаемо! Вы людей, как кошек, режете, так у вас небось сердце травой поросло. А у нашего брата, истинного любителя и ценителя, видите: глаза мокры. Отчего? Оттого, что все струны сердечные созвучно затрепетали, забренчали!

— Вы слишком добры, Александр Николаевич, — соскромничал Пушкин, — я очень хорошо сам сознаю, что только подражаю дяде моему Василию Львовичу...

— Поди ты с ним! Ну где ему до тебя!.. Пстой, пстой: ты куда это от меня?

— На свое место.

— Нет, милочка моя, не уйдешь теперь: место твое тут, около меня. Господа! Уступите кто-нибудь стул. Да не стул следует тебе, а трон.

Усевшись на стул рядом с Иконниковым, Пушкин отложил в сторону прочитанное послание, привел в порядок пачку рукописных листочков своего «Цыгана» и, как опьяненный предшествующим успехом, победоносно обратился к слушателям с шутливым предисловием:

— Милостивые государи! Стихотвореньице, столь терпеливо сейчас выслушанное вами, было не более как легонькой закуской перед капитальной прозаической трапезой. Сия же последняя будет сервирована вам в четыре приема, именно: в двух частях с прологом и эпилогом.

Пресытился ли аппетит угощаемых от стихотворной закуски, или провизия, из которой была состряпана прозаическая трапеза, была чересчур сытна и грузна, — только с особенным наслаждением, казалось, никто ее не вкушал. Пролог выслушали среди гробового молчания, прерывавшегося только щелканьем орехов да пережевыванием прочих снедей. Такое безмолвие могло быть приписано всеобщему глубокому вниманию, и потому автор-чтец, не отрывая глаз от рукописи, выждал несколько мгновений, не выскажется ли кто-нибудь. Но никто отзывом не торопился, а доктор даже обратился шепотом к своему соседу с совершенно посторонним вопросом:

— Где вы берете здесь эти сочные яблоки?

Пушкин поморщился и скороговоркой приступил к чтению первой части. Но и та была выслушана так же безучастно. Автор уже с некоторым беспокойством оглядел присутствующих и заметил, что глаза их точно избегали его вопрошающего взгляда. Кровь горячею волной хлынула ему в голову, в висках начало стучать, углы рта судорожно задергало.

— Что же, не нравится? — проговорил он вызывающим тоном. Но голос его, как надтреснутый, дрогнул.

Настала неловкая для всех пауза.

— По правде сказать, мало оживления в рассказе, — добродушно брякнул наконец простак-доктор.

— Это так, — подтвердил Пуштин, — цыган твой философствует, как печатная книга, а между тем...

— Ну что ты, профан, смыслишь! — не выдержав, буркнул Пушкин. — Вот Илличевский, кажется признанный знаток, читал эту самую часть и сравнивал меня даже с Вальтер Скоттом.

— М-да... — прошамкал Илличевский, — есть некоторое сходство...

— Даже большое, — подхватил неугомонный доктор Пешель, — и вы, и Вальтер Скотт одинаково наводите изрядную скуку.

Уязвленный романист вспыхнул до корней волос и готов уж был вскочить со стула. Тогда доктор, смекнув, что зашел слишком далеко, предупредил его и, как ребенка, насильно усадил опять на место.

— Ну, полноте, Пушкин! Я ведь это так, сдуру сболтнул. Эге! — добавил он, взглянув на часы. — Про пациентов-то своих я и забыл. До свидания, господа!

Пушкин, конечно, его не удерживал и, исподлобья поглядывая на других, перелистывал свою рукопись.

— Нет, доктор не прав, — вступился теперь за друга своего Дельвиг. — В романе очень много ума, хороших мыслей... Не правда ли, Корсаков?

— О да... — как-то ежась, проговорил тот и повернулся к окошку. — Ай батюшки, какой снег валит!

Бедный автор беспомощно покосился на сидевшего рядом с ним главного ценителя, Иконникова. Но этот, нервно ероша себе волосы, проворчал только:

— Читай дальше!

подавив вздох, Пушкин наскоро налил себе стакан воды, выпил его залпом и принялся за вторую часть. Но крылья вдохновения были уже пришиблены; оно не могло подняться до прежней высоты; читал он неровно: голосовые струны то и дело обрывались минорными тонами. Вторая часть вместо того, чтобы увенчать его торжество, самому ему показалась теперь даже слабее первой; а когда он произнес опять заключительную фразу: "Конец второй части", председатель досказал под тон ему:

— И последней! Ибо хоть у вас для десерта и припасен еще эпилог... так ведь?..

— Так... — совсем упавшим голосом чуть слышно пролепетал автор.



— Но вашего цыгана он уже не воскресит из мертвых, тот умер и погребен на веки вечные в начале первой части. Вы, впрочем, друг мой, понапрасну не убивайтесь. Конь и о четырех ногах, да спотыкается. Будучи поваренком, вы возомнили себя заправским поваром и изготовили нам такую стряпню, что хоть брось. К стихам есть у вас несомненный дар; но в них — что главное? Музыка слов, гуслирный звон. "Стрень-брень, гусельки, золотые струнушки!" Ну а для прозы этого маловато. Надо завязку, надо развязку, а первое того — житейскую опытность да собственную смекалку. Тут надерганными у других сочинителей мыслями не отделаетесь. Я даже скажу вам, откуда у вас что. Вы, верно, начитались перед тем Шатобриана. Правда?

— Правда... — должен был сознаться уличенный автор. — Из быта цыган я не мог ничего подыскать, а краснокожие, которых описывает Шатобриан, такие же кочевники...

— То-то, что не такие же! И вышел у вас продувной по природе цыган честнейшим краснокожим. Читали вы затем, вероятно, «Признания» Руссо?

— Как вы это знаете?

— Все, батенька, знаю. Чую у вас и струйку Вольтера. Вот мой совет вам: оставайтесь покуда при ваших гусях; мы вас всегда с охотою прослушаем и спасибо вам скажем.

Последних доброжелательных слов экс-гувернера Пушкин уже не дослушал: он сгреб в охапку со стола свой злосчастный роман и бросил его в пылающую печь. Кто-то из лицеистов ахнул; Иконников же одобрил, кивнув головой.

— Так-то лучше, — сказал он, — сразу сожгли за собой корабли и отрезали себе отступление. Да оно как-то и почетнее для произведения ума человеческого погибнуть на костре, чем медленною естественною смертью.

— А где же мои стихи? — хватился Пушкин.

— Верно, в огонь же спровадил, — отвечал Дельвиг, который, предвидя, что и стихи может постигнуть одна участь с прозой, упрятал их в карман. — Да не пора ли нам, господа, и по домам?

— Пора! — согласился Иконников. — Пусть отдохнет наболевшее сердце.

Только что гости, выйдя в коридор, сделали несколько шагов, как услышали за дверью покинутой камеры грохот падающих вещей и звон разбитой посуды. Пуштин повернул было назад, чтобы узнать в чем дело, но Иконников удержал его:

— Оставьте, не тревожьте.

Затем он обратился к сторожу-часовому:

— Поди, помоги.

Когда тот вошел к Пушкину, глазам его представилась картина полного разрушения: стол, два стула и поднос лежали на полу, а кругом по всей комнате были разбросаны остатки лакомств и осколки графина и стакана. Надо всем этим, как Марий на развалинах Карфагена, стоял в мрачном раздумье сам хозяин.

Выждав, пока сторож подобрал все с полу и восстановил некоторый порядок, Пушкин молча указал ему на дверь; а когда тот вышел, он схватился обеими руками за голову и застонал, как от глухой внутренней боли:

— О-о-о!

— Послушай, Пушкин, — донесся из-за стены увещевающий голос, — зачем принимать так близко к сердцу!..

— Замолчи, не говори! — крикнул Пушкин и, зажав ладонями оба уха, забегал взад и вперед по комнате. Но вслед за тем, как обессиленный, он опустился на стул и закрыл лицо руками. Долго сидел он так, с опущенной головой; но вдруг, как будто что-то вспомнив, вскочил опять на ноги, кинулся к конторке, достал со дна ее целый ворох своих писаний и швырнул их в печь. С какою-то злобной радостью следил он, как вспыхнули сперва верхние листы, как потом пламя охватило весь ворох и обратило его в тлеющую грудку пепла...

— А где же Пушкин? — спросил за ужином дежурный гувернер.

— Оплакивает своего "Цыгана", — отвечал за других Гурьев, который, как парень пронырливый, успел уже проведать обо всем.

— Неправда! — горячо вступился за отсутствующего друга Пуцин. — Кто тебе сказал?

— Слухом земля полнится.

После уже выяснилось, что убиравший камеру Пушкина сторож кое-что выдал, а об остальном проболтался простодушный Иконников. Понятно, что весть о печальной участи «Цыгана» быстро разнеслась по всему лицу. Товарищи, впрочем, были настолько деликатны, что избегали вообще заговаривать с бедным автором, который несколько дней ходил точно больной: бледный, понурый, сторонился всех и замыкался в своей камере, где, как можно было видеть из коридора в решетчатое окошко, лежал на кровати с закрытыми глазами. Гурьев вздумал было воспользоваться этим случаем, чтобы снова к нему подольститься, и начал утешать его; но Пушкин так фыркнул на непрошеного утешителя, что тот еле ноги унес.

## Глава XXI

### "Книги Веды"

*Учись, мой сын: наука сокращает  
Нам опыты быстротекущей жизни.*

*"Борис Годунов"*

*Перед гробницею святой  
Стою с поникшею главой...*

Кроме классных журналов, куда заносились отметки по отдельным урокам, каждый профессор и гувернер вел свою особую ведомость о "дарованиях, прилежании и успехах" воспитанников. Хранились эти ведомости за стеклом в одном из шкапов конференц-зала и по своей таинственности, а быть может, и по созвучию слов назывались у лицеистов Книгами Веды.

В январе 1814 года, в одно воскресное утро, когда все воспитанники отправились к обеду в дворцовую церковь, Гурьев под предлогом нездоровья не пошел с ними; когда же товарищи вернулись оттуда, он с лукавой улыбкой тихонько зазвал к себе в камеру некоторых из них: двух ближайших друзей своих, Броглио и Ломоносова, да трех других, расположения которых особенно искал, — Пушкина, Дельвига и Горчакова.

— Да что у тебя здесь? — недоумевали те, когда он плотно притворил за ними дверь.

— А чудо чудное, диво дивное! — отвечал он и с важностью указал на окно: — Книги Веды!

На подоконнике в самом деле были в порядке разложены неприкосновенные дотоле ведомости лицейского начальства.

— Да кто тебе позволил, Гурьев? — удивился Горчаков.

— Наивный вопрос! Разве на запретные плоды испрашивается позволение?

— Но это может тебе и не сойти с рук...

— Сойдет! — легкомысленно рассмеялся в ответ шалун. — Я даром, что ли, тебя-то зазвал? Ты как щит меня прикроешь. А теперь, благо ты здесь, не хочешь ли взглянуть, что о тебе пишут?

Прочие приглашенные тем временем с понятным любопытством

наперерыв уже перелистывали ведомости. О Дельвиге имелся такой отзыв гувернера Чирикова:

"Насмешлив, упрям; впрочем, добр и весьма усерден; прилежания посредственного. Хладнокровие есть особенное его свойство".

Про Гурьева один надзиратель Пилецкий высказывался одобрительно; профессора же и гувернеры поголовно признавали его "нерадивым, лживым и лицемерным".

— Вот видишь ли, Гурьев, что они говорят про тебя, — кротко заметил Дельвиг, — то же, что мы с Пушкиным говорили уже не раз. Будь немножко прямее, правдивее — и все тебя больше полюбят.

— Ну да, хороши и вы оба с Пушкиным! — хорохорился Гурьев. — Записные лентяи!

— Себя я не защищаю, — по-прежнему спокойно отозвался Дельвиг, — но Пушкин — другое дело, да и в фальши его уж никто не обвинит. Вот смотри, как думает о нем Кайданов:

"При малом прилежании оказывает очень хорошие успехи; а сие должно приписать одним только прекрасным его дарованиям. В поведении резв, но менее прежнего..."

— Особенно со смерти несчастного "Цыгана"! — не без ядовитости вставил Гурьев.

Сдерживавшийся до сих пор Пушкин побледнел и со сжатыми кулаками подступил к насмешнику.

— Как ты сказал? Повтори!

— А тебе приятно дважды слышать такие любезности? — огрызнулся Гурьев, ретируясь за Дельвига. — Ну что же, барон, есть там еще что?

— А вот мнение Кошанского, — отвечал барон, довольный, что может отвлечь внимание своего друга от обидчика, — ты, Пушкин, слушай-ка, как этот отзывается:

"Больше имеет понятливости, нежели памяти, больше вкуса к изящному, нежели прилежания к основательному; почему малое затруднение может остановить его, но не удержать; ибо он, побуждаемый соревнованием и чувством собственной пользы, желает сравняться с первыми воспитанниками. Успехи его в латинском языке довольно хороши, в русском не столько тверды, сколько блистательны".

— Ага! Что, не прав разве я? — воскликнул Гурьев. — Даже патрон его, Кошанский, находит, что успехи его "не столько тверды, сколько блистательны". А другие чествуют его еще не так! Вот хоть Чириков:

"Легкомыслен, ветрен, неопрятен, нерадив; впрочем, добродушен, усерден; учтив, имеет особенную страсть к поэзии".

— Что я ветрен — не отрекаюсь, — согласился Пушкин, — неопрятность же и нерадивость моя в том, что тетради у меня в кляксах, а пальцы — в чернилах...

— Да и грива, как у дикого зверя, всклокочена, непричесана!

— Кудрява — так и всклокочена; а чесать ее каждые пять минут — слуга покорный!

— Так хоть помадил бы!

— У льва она тоже никогда не напояжена, — возразил со своей стороны Дельвиг, — а лев все же царь зверей!

Школьники так были заняты своим спором, что и не заметили, как дверь отворилась и вошел сам директор Малиновский. Только когда над головами их раздался его голос: "Что это у вас тут, господа?" — они, как от удара грома, шарахнулись в разные стороны, а Гурьев, присев к полу, хотел было змеею юркнуть вон. Но Малиновский поймал его за шиворот и поставил перед собой:

— Вы, милый, куда?.. Откуда у вас эти ведомости?

— Не знаю-с... кто-нибудь без меня принес и положил... — бодрясь, залепетал Гурьев.

— Стало быть, не вы?

— О нет! Ей-Богу, не я! Кто-нибудь подсунул мне...

— Напрасно вы, конечно, не стали бы божиться, — сказал Малиновский и оглядел кружок лицеистов. — Так кто ж это из вас, господа? И вы здесь, Горчаков? Не ожидал, признаться.

Горчаков готов был сгореть со стыда и, как красная девица, потупился. Прочие также молчали; но недовольные взгляды, которые они кидали исподлобья на Гурьева, выдали директору настоящего преступника.

— Виновным оказываетесь все-таки вы, Гурьев, — проговорил глубоко возмущенный Малиновский. — Вы солгали мне!

Тот, видя, что попался и не увернется, принес повинную.

— Я, право, не хотел лгать, Василий Федорыч...

— А солгали и даже побожились! У вас, значит, нет ни совести, ни религии! Вы что ж, взломали шкаф, где хранились эти журналы?

— Боже меня упаси! Шкап был отперт...

— Это опять неправда: я сам его запираю и ключ всегда ношу при себе.

— Я уж и не помню хорошенько, Василий Федорыч, что говорю... Я от испуга так теперь расстроен, что на меня точно туман какой нашел...

— Это бывает с лжецами! Но я помогу вашей памяти. Вы просто какой-нибудь ключ подобрали?

— Ах да! Ключик от моей конторки приходился к тому шкапу. Дайка, — думаю, — не откроется ли? А тут как раз лежали передо мной эти журналы. Дай, — думаю, — возьму ради шутки...

— Эта шутка вам дорого обойдется! Если вы с подобранным ключом добываете то, что положено не для вас, вы способны на все.

— В последний раз простите! — взмолился теперь не на шутку струхнувший школьник.

— "В последний раз" вы уже получили прощение. Теперь все будет зависеть от решения конференции.

— Мы все в этом немножко виноваты, Василий Федорыч, — заступился тут за товарища Пушкин, — нам тоже хотелось узнать, что думает о нас начальство...

— Так вы были с ним заодно?

— Нет, до сих пор мы ничего об этом не знали.

— И, наверное, не сделали бы этого?

— Нет!

— Вот видите ли: вы сами осудили его.

— Да ведь на милость, Василий Федорыч, образца нет! А вы столько грехов уж нам простили — простите же и его еще раз!

В мягкосердечном Василии Федоровиче происходила явная борьба, морщины на лбу его слегка сгладились. Но он не счел пока возможным уступить безусловно.

— О Гурьеве речь впереди, — сухо оборвал он этот разговор. — А что касается вас самих, Пушкин, то любопытство ваше удовлетворено: вы узнали, какого мнения о вас начальство.

— Узнал...

— И нисколько не желали бы изменить этого мнения? Все признают ведь, что дарования ваши незаурядные, но что прилежание ваше оставляет желать многого. Боюсь, что, когда меня не будет с вами, вы совсем, пожалуй, как Гурьев, с пути собьетесь...

Директор не договорил: его стал душить страшный кашель. Он кашлял уже несколько недель, а от его сына воспитанники слышали, что он сильно страдает грудью; да и сами они не могли не заметить происшедшей с ним в короткое время поразительной перемены: он исхудал, как скелет, сгорбился, начал говорить каким-то беззвучным, упавшим голосом, и даже характер его, всегда ровный и благодушный, как будто сделался раздражительнее. Теперь он сам открыто заявил о своем опасном положении.

— Да, друзья мои, — сказал он, когда кончился припадок кашля и он мог опять перевести дух, — скоро, скоро, не сегодня, так завтра меня уж не

станет...

— Что вы говорите, Василий Федорыч! — воскликнул Горчаков, порывисто хватая его за руку.

Малиновский оглянулся на дверь и продолжал, понизив голос:

— Только сыну Ивану не передавайте, господа. От вас мне нечего скрывать: смерть стережет меня, я это чувствую тут, в разбитой груди. Но, как часовой на своем посту, я до последней минуты буду исполнять свой долг. И вам бы, милые мои, следовало делать то же... Ах, Пушкин, Пушкин! За вас, признаться, мне больнее всего. При ваших прекрасных природных задатках вы могли бы пойти очень далеко. А что еще из вас выйдет? Возьмите себе в образец вот хоть этого товарища и друга вашего — Горчакова. Ведь он друг ваш?

— Да, я с первого дня полюбил его...

— И я тебя тоже, — ответил с чувством маленький князь, протягивая ему руку.

— Кажется, все вы, господа, точно так же расположены к князю? — продолжал Малиновский.

— Все! — был единодушный ответ.

— Ну вот. А это не мешает ему пользоваться расположением и начальства. Так как журналы у нас теперь под рукой, то я вам прочту, что думают о нем.

Горчаков так и оторопел.

— Помилуйте, Василий Федорыч...

— Вам, друг мой, конфузно слышать похвалы себе? — благосклонно усмехнулся Василий Федорович. — Ну что же, можете покуда выйти в коридор.

— Нет, умоляю вас...

— Ступай, ступай! — прервал его Пушкин, по-приятельски выпроваживая его за дверь.

Между тем директор, отыскивая в одной из ведомостей имя выпровожденного, снова раскашлялся и схватился за грудь.

— Нет, не могу сам... — проговорил он. — Прочтите за меня, Пушкин... Вот заметка о князе гувернера вашего Чирикова.

Пушкин прочел следующее:

"Благоразумен, благороден в поступках, любит крайне учение, приятен, вежлив, усерден, чувствителен, кроток, но самолюбив. Отличительные его свойства: самолюбие, ревность к пользе и чести своей и великодушие".

— Самолюбие — не порок, а скорее добродетель, если сопровождается

усердием и великодушием, — пояснил Малиновский. — И так же точно отзываются о Горчакове все профессора. Прочтите, например, недавний отзыв Николая Федорыча.

Отзыв профессора Кошанского (от 15 декабря 1813 года) был такой:

"Один из немногих воспитанников, соединяющих многие способности в высшей степени. Особенно заметна в нем быстрая понятливость, объемлющая вдруг и правила, и примеры, которая, соединяясь с чрезмерным соревнованием и с каким-то благородно-сильным честолюбием, открывает быстроту ума в нем и некоторые черты гения. Успехи его превосходны".

— И в вас, Пушкин (что таить!), есть признаки гения, — заговорил опять Малиновский, — но успехи ваши, увы! Далеко "не превосходны". Знаете старую, но золотую пословицу: "Корень учения горек, да плоды его сладки"? А вы, вместо того чтобы углубиться в этот корень, гоняетесь за мыльным пузырем — поэзией.

Дружелюбно-грустный тон, которым были произнесены эти слова, а еще более, быть может, удрученный болезнью вид любимого директора произвели на Пушкина сильное впечатление. К тому же он и сам теперь, казалось, махнул рукой на поэзию. Он поник головой и не возразил ни слова. Зато молчаливый в иное время Дельвиг отшутился вместо него:

— Да ведь у поэзии-то, Василий Федорыч, и корень сладок!

— А плоды горьки! — подхватил собравшийся между тем с духом Гурьев. — Пушкин съел на днях такой гриб...

— От которого вы поперхнетесь! — резко оборвал его Малиновский. — Извольте-ка идти за мной.

И, захватив похищенные ведомости, он сдал шалуна на руки первому попавшемуся им в коридоре дядьке для заключения в карцер. Оттуда заключенник хотя и был дня через два выпущен, но только для того, чтобы уж навсегда покинуть стены лицея: согласно решению конференции, несмотря на заступничество Пилецкого, матери неисправимого школьника было предложено взять его из заведения "по домашним обстоятельствам". Кроме него самого, никто из лицеистов не пролил ни слезинки по случаю его внезапного ухода.

Что же касается Пушкина, то для него история с "Книгами Веды" должна была иметь, напротив, самые плодотворные последствия. В течение с лишком двух месяцев профессора не могли нахвалиться его усердием и блестящими ответами, за исключением, впрочем, профессора математики Карцова, наука которого по-прежнему не давалась Пушкину, так как без основательной первоначальной подготовки она, как здание, построенное на



рыхлом песке, не имеет необходимой прочности.

Трудно сказать, на сколько времени хватило бы у него этого рвения, если бы оно не было разом охлаждено роковым событием, перевернувшем вверх дном весь быт лицейский: опасения, высказанные директором относительно недолговечности своей, 23 марта 1814 года, к несчастью, оправдались. Утром Василий Федорович через силу зашел в классы, а вечером его уже не стало.

Подобно своему здоровью и благополучию, мы до тех пор не знаем цены милым нам людям, пока их вдруг не лишимся. Ветренику Пушкину никогда и в голову не приходило давать какую-нибудь цену заботам о нем Малиновского, и только после знаменательного разговора по поводу "Книг Веды" в нем проснулось сознание этой заботливости. Теперь же, когда угас навсегда человек, в руках которого была вся его дальнейшая судьба, ему сдавалось, что солнце на небесах мгновенно потухло и весь мир охватила одна непроглядная тьма. За гробом он шел об руку со старшим сыном покойного, лицеистом Иваном Малиновским, который был ему теперь ближе всех других приятелей и друзей. Когда дорогой им обоим прах стали опускать в мерзлую землю, бедный сын истерически разрыдался: "О Боже, Боже! За что Ты так жестоко наказал меня!" Ноги у него подкосились, и он готов был, кажется, ринуться стремглав вслед за отцом. Но твердая рука удержала его — рука Куницына, стоявшего рядом с ним по другую сторону; убитый же дух его молодой профессор старался поднять и оживить словами разума и веры:

— Не забудьте, друг мой, что вы, как старший брат, теперь единственная опора вашей семьи. Утрата ваша безмерна, но роптать на Бога вам грешно: можете ли вы знать, для чего Он ниспослал вам это горькое испытание? Когда вы были еще малым ребенком, вы не понимали ведь всех требований вашего отца, но слепо повиновались ему, потому что верили, что он дурному вас не научит. Верьте же, что и Всевышний Отец наш недаром причинил вам эту глубокую скорбь, что так нужно было.

И рыдания безутешного сына понемногу утихли; улеглось и глухое отчаянье Пушкина, не пропустившего ни одного слова утешителя. Но энергия в нем была уже потрясена; уроки пошли с этих пор опять кое-как. Да и профессора, впрочем, относились теперь к своему делу как-то равнодушнее: бразды управления лицеем, выпав из мягких, но опытных рук покойного директора, вообще поослабли.

— Что-то будет? Кого дадут нам? — озабоченно толковали между собой и профессора, и лицеисты.

— Хуже будет! — вздыхал Пушкин. — Второго Василия Федорыча

нам не найти!

Он был прав. Настала для лица самая тяжелая, безотрадная пора — пора безначалия, «междоцарствия» (как называли ее впоследствии), продолжавшаяся без малого два года. Благодаря ненормальным условиям этого «междоцарствия», отроки-лицейсты преждевременно созрели, обратились в юношей-скороспелок; но зато и цвет молодой Музы нашего будущего великого поэта распустился ранее и пышнее, чем то было бы при обыкновенных условиях.

Этому второму, юношескому периоду лицейской жизни Пушкина мы посвятили отдельную повесть.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Впервые — в журнале «Родник». 1885. № 7-11; отд. изд. — СПб., 1885.

С. 22. *Мой дядюшка-поэт...* — строка послания дана в ранней редакции (ср. с. 542).

...*Александр Иванович Тургенев* (1784–1845) — историк, прозаик, критик; друг Жуковского. Занимал высокие служебные посты камергера, директора департамента духовных дел. Брат декабриста Н. И. Тургенева (1889–1871), уехавшего в 1824 г. за границу и приговоренного заочно к смертной казни.

С. 26. ... *наш друг-поэт и министр Иван Игнатович...* — В. Л. Пушкин (1766–1830) умышленно или ошибочно называет Иваном Игнатовичем известного поэта и государственного деятеля Ивана Ивановича Дмитриева (1760–1837), назначенного Александром I в 1810 г. членом Государственного совета и министром юстиции.

С. 27. *Шишков... укорял меня в том, что Париж я знаю будто бы только по закоулкам...* — Здесь фигурирует типичный эпизод из полемики начала века между «шишковистами» и «карамзинистами». Александр Семенович *Шишков* (1754–1841) — поэт, драматург, критик, государственный деятель. Служил во флоте (адмирал). Был статс-секретарем Александра I, членом Государственного совета, министром просвещения (в 1824–1828 гг.), президентом Академии наук (с 1813 г.). Был в числе основателей литературного общества "Беседа любителей русского слова" (1811–1816), стоявшего на позициях классицизма. Выступал против реформы русского языка, проводившейся сторонниками Н. М. Карамзина, которые объединились для борьбы с «шишковистами» в кружок «Арзамас» (1815–1818). «Арзамасцем» стал и А. С. Пушкин, как и другие, получивший здесь прозвище Сверчок. Шишков в своей статье "Присовокупление к Рассуждению о красноречии Священного Писания" (1811) написал о В. Л. Пушкине-"карамзинисте" следующее: "Сии судьи и стихотворцы в посланиях своих призывают к Вергилиям, Гомерам, Софоклам, Еврипидам, Горациям, Ювеналам, Саллустиям, Фукидидам, затвердя имена их и, что удивительнее, научась благочестию в «Кандиде» и благонравию и знаниям в парижских переулках, с поврежденным сердцем и помраченным умом вопиют против невежества и, обращаясь к теням великих людей, толкуют о

науках и просвещении". У В. Л. Пушкина был резон возмутиться упреком Шишкова. В 1803–1804 гг. поэт совершил интересное, много ему давшее путешествие за границу. В Париже он общался с лучшими поэтами того времени Сен-Пьером, Делилем, Фонтаном; у знаменитого актера Тальони (1777–1871) брал уроки декламации. В парижском журнале опубликовал свои переводы четырех русских народных песен. Кроме того, из путешествия, как отмечали его друзья, он привез не только модный фрак и модную прическу, но и превосходно подобранную библиотеку латинских, французских и английских авторов, которой успел попользоваться и его юный любознательный племянник (библиотека сгорела в 1812 г. во время пожара Москвы).

Далее в повести цитируется послание "К Д. В. Дашкову". Дмитрий Васильевич Дашков (1789–1839) — один из самых активных «карамзинистов»; был в числе основателей (вместе с Жуковским и Д. Н. Блудовым) кружка «Арзамас» (здесь его прозвище было Чу). Автор критико-полемических статей, направленных против Шишкова и других сторонников консервативно-архаического взгляда на развитие и расширение лексико-стилистических возможностей языка и литературы. Несмотря на заикание, Дашков был превосходным оратором, остроумным полемистом.

С. 28. ...помните, у Фонвизина... — Цитируется популярное в XVIII в. стихотворение знаменитого создателя «Недоросля» Д. И. Фонвизина "Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке", за которое, как пишет автор, "у многих прослыл я безбожником".

...знаменитая комедия "L'Escamoteur" ("Похититель") — не дошедшая до нас пьеса А. С. Пушкина (сохранился лишь стихотворный фрагмент из нее), написанная на французском языке до поступления в лицей. О. С. Павлицева о детских увлечениях брата сочинительством вспоминает: "... Любимым его упражнением сначала было импровизировать маленькие комедии и самому разыгрывать их перед сестрою, которая в этом случае составляла всю публику и произносила свой суд. Однажды как-то она освистала его пьеску «Escamoteur». Он не обиделся и сам на себя написал эпиграмму:

— Скажи, за что "Похититель"  
Освистан партером?  
— Увы, за то, что бедняга сочинитель  
Похитил его у Мольера.

В то же время пробовал сочинять басни; а потом, уже лет десяти от роду, начитавшись порядочно, особенно «Генриады» Вольтера, написал целую героикомическую поэму, песнях в шести, под названием «Toliade» ("Толиада". -Т. П.), героем которой был карла царя-тунеядца Дагоберта, а содержанием — война между карлами и карлицами".

С. 31. *На диване сидели дама, мальчик-подросток и крошка-девочка..* — Это были гувернантка, барон Антон Иванович Дельви́г (1798–1831) и его сестра Мария Антоновна. Ближайший друг Пушкина Дельви́г после лицея стал поэтом, критиком и журналистом; он первый редактор и издатель "Литературной газеты", основанной в 1830 г. Пушкиным, В. А. Жуковским и П. А. Вяземским. Автор популярных романсов и песен: «Элегия» ("Когда, душа, просилась ты..."), "Ах ты, ночь ли, ноченька...", «Романс» ("Прекрасный день, счастливый день..."), "Соловей мой, соловей...", "Как за реченькой слободушка стоит...", "Не осенний частый дождичек..." и др.

С... 34. ... *адмиралу Пущину не пристало дожидать..* — Петр Иванович Пушци́н (1723–1812), адмирал, дед декабристов Ивана Ивановича Пушци́на (1798–1859), лицейского друга Пушкина, и Михаила Ивановича Пушци́на (1800–1842), а также их братьев Егора Ивановича (1801–1833), Николая Ивановича (1803–1874), Петра Ивановича (1813–1856) и сестер Варвары Ивановны (1804–1880) и Елизаветы Ивановны (1806–1860).

С. 36. *Позвольте и мне отрекомендоваться: Константин Гурьев...* — Лицейст Гурьев был исключен из лицея до окончания курса за дисциплинарное нарушение.

...*молодому генералу, оказавшемуся князем Горчаковым, и к его подростку-сыну...* — Михаил Алексеевич Горчаков (1798–1831) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г. Его сын — Александр Михайлович (1798–1883), лицеист первого выпуска, друживший с Пушкиным. Поэт охарактеризовал его так: "Питомец мод, большого света друг, обычаев блестящий наблюдатель". Князь окончил лицей со второй золотой медалью (первая — у Вальховского). Впоследствии Горчаков стал дипломатом, государственным канцлером, заслуги которого перед государством были отмечены не только многими наградами, но и высшим титулом светлейшего князя. Пушкин посвятил ему два лицейских послания (1814 и 1817 гг.).

С. 37. *Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846)* — поэт, декабрист, один из ближайших друзей Пушкина.

С. 42. *Мосье де Будри Давид Иванович* — профессор французской словесности и риторики в лицее; младший брат вождя якобинцев Марата.

"Екатерина II, — рассказывает Пушкин, — переменяла ему фамилию, по просьбе его, придав ему аристократическую частицу *de*, которую Будри тщательно сохранял... Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет, вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный".

С. 43. *Профессор немецкой словесности...* — Им в лицее был Ф. М. Гауеншильд (Гауншильд). См. примеч. к с. 170.

С. 46. *...старший сын его, Иван...* — Малиновский Иван Васильевич (1796–1873), с 1825 г. полковник в отставке; сын первого директора Царскосельского лицея Василия Федоровича Малиновского (1765–1814).

С. 47. *...и Ломоносова привести...* — Сергей Григорьевич *Ломоносов* (1799–1857), лицеист первого выпуска, ставший дипломатом, секретарем русских посольств в Париже, Копенгагене, Вашингтоне.

С. 57. *... покойной бабушки его, Марьи Алексеевны...* — М. А. Ганнибал (урожд. Пушкина; 1745–1818). Как рассказывает сестра А. С. Пушкина Ольга Сергеевна, в замужестве Павлицева (1797–1868), бабушка, у которой они часто гостили в имении Захарьино, была "замечательна по своему влиянию на детство и первое воспитание Александра Сергеевича".

С. 58. *...сухопарый господин в вицмундире...* — надзиратель лицея по учебной и нравственной части Мартын Степанович Пилецкий-Урбанович. Лицеисты ненавидели его за ханжество, высокомерие и доносы. В 1813 г. после демонстративного протеста лицеистов, организованного Пушкиным, надзиратель принужден был уволиться.

С. 69. *Куницын!* — *шепнул кто-то...* — Александр Петрович *Куницын* (1783–1840) — один из самых любимых профессоров в лицее, блестяще читавший лекции по нравственным и политическим наукам. На открытии лицея произнес речь, которая на всех произвела сильное впечатление (это "Наставление воспитанникам" было потом напечатано и роздано всем лицеистам).

С. 80. *...она (императрица) наклонилась над ближайшим лицеистом Корниловым...* — Лицеист первого выпуска Александр Алексеевич *Корнилов* (1801–1856) впоследствии сделал большую карьеру на гражданской службе. Его младший брат Владимир Алексеевич *Корнилов* (1806–1854) — известный флотоводец, руководитель героической обороны Севастополя; на Малаховом кургане был смертельно ранен.

С. 84. *...к заслугам профессора латинской и российской словесности Кошанского...* — Николай Федорович *Кошанский* (1785–1831) — автор учебников по эстетике и риторике.

С. 92. *Илличевский* Алексей Дамианович (1798–1837) — поэт, в лицее

считавшийся безуспешным конкурентом Пушкина. Слыл человеком желчным и завистливым.

С. 95. *Златые дни! Уроки и забавы...* — В эпитафии использованы строки из черновой редакции стихотворения (ср. с. 588).

С. 98. *...вот Корсаков тоже просится в компанию...* — Николай Александрович Корсаков — композитор и музыкант, умерший 26 сентября 1820 г. во Флоренции.

С. 99. *У всякого своя есть повесть...* — Эпитафия из черновых набросков к плану поэмы.

С. 100. *Слышал кто-нибудь из вас про Абрама Петровича Ганнибала?..* — Пушкин рассказывает друзьям о своих предках. А. П. Ганнибал (1697–1787) — "арап Петра Великого", родом из Абиссинии; вышел в отставку в чине генерал-аншефа. Имел шестерых детей; Иван Абрамович (1731–1801), участвуя в морском походе, возглавил покорение Наварина, взорвал турецкий флот под Чесмой. Основатель Херсона. Дослужился до генеральского чина отца.

С. 103. *... сперва князь Ментиков* — Александр Данилович (1673 — 1729), сын придворного конюха, ставший сподвижником Петра I, генералиссимусом. При Екатерине I был фактическим правителем России. Сослан Петром III в Сибирь.

*...потом Бирон* — Эрнст Иоганн (1690–1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны, установивший в России деспотический режим — «бироновщину». После дворцового переворота 1740 г. сослан, но Петром III помилован.

С. 104. *... один из литературных врагов его, Фаддей Булгарин...* — Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) — прозаик, критик, автор известных романов "Иван Выжигин", "Димитрий Самозванец", «Мазепа» и др.; издатель крупнейших журналов пушкинской поры — "Северный архив", "Сын Отечества", «Эконом», газеты "Северная пчела". До 1830 г. отношение Булгарина к Пушкину было заискивающе-почтительным, но с появлением пушкинской "Литературной газеты", конкурента "Северной пчелы", оно перешло в озлобленную вражду, на которую поэт отвечал хлесткими, уничтожающими эпитафиями.

С. 115. *... называя их то диоскурами Кастором и Поллуксом, то Орестом и Пиладом...* — В греч. мифологии Кастор и Поллукс (Полидевк) — сыновья Зевса, близнецы (диоскуры). Кастор славился как укротитель коней и считался смертным, а бессмертный Поллукс был лучшим кулачным бойцом. В их честь названо созвездие Близнецов, которое служило путеводителем моряков. Орест и Пилад стали символами

верной дружбы. Орест (Атрид) — сын царя Агамемнона, коварно убитого женой Клитемнестрой и Эгисфом, с которым она сошлась, пока муж был в Троянском походе. Орест с помощью своего друга Пилада расправился с убийцами отца.

С. 117. ... *военного министра Барклая-де-Толли*. — Михаил Богданович *Барклай-де-Толли* (1761–1818) в начале Отечественной войны 1812 г. стал главнокомандующим русскими войсками; инициатор стратегического плана отступления войск в глубь страны, вызвавшего непонимание и несправедливые укоризны. Пушкин посвятил его памяти стихотворение «Полководец» (1835), заканчивающееся строками:

О люди! Жалкий род, достойный слез и смеха!  
Жрецы минутного, поклонники успеха!  
Как часто мимо вас проходит человек,  
Над кем ругается слепой и буйный век,  
Но чей высокий лик в грядущем поколенье  
Поэта приведет в восторг и умиленье!

С. 117. *Кунктатор* — осторожный, нерешительный человек; так был прозван римский полководец Фабий за медлительные действия в войне с Ганнибалом (217 г. до н. э.).

С. 118. *Раевский... с двумя малолетними сыновьями...* — Николай Николаевич *Раевский* (1771–1829) — генерал от кавалерии; сыновья — Александр (1795–1868) и Николай (1801–1843), герои Отечественной войны. Со всей семьей Раевских А. С. Пушкин дружил и общался до конца своей жизни.

С. 119. *Тогдашнему почт-директору Булгакову...* — Александр Яковлевич *Булгаков* (1781–1863) — чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, московский почтовый директор в 1832–1856 гг.

С. 120. *Министр народного просвещения князь Голицын Александр Николаевич* (1773–1844), он же министр духовных дел, отличавшийся непомерным ханжеством и фанатизмом.

...*Петербург спасся... благодаря графу Витгенштейну*. — Петр Христофорович *Витгенштейн* (1769–1843) — светлейший князь, генерал-фельдмаршал. В Отечественную войну командовал корпусом на петербургском направлении и защитил столицу.

В сноске фрагменты из поэмы "Медный всадник" приводятся по



ранним редакциям.

С. 123. ...*времен Румянцева и Суворова*. — Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796) — граф, русский полководец, генерал-фельдмаршал, герой первой русско-турецкой войны 1768–1774 гг. Александр Васильевич Суворов (1730–1800) — великий русский полководец, граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799), генералиссимус (1799).

С. 133. ...*у одного из лицеистов-актеров, Маслова*... — Дмитрий Николаевич Маслов (1799–1856).

С. 139. ...*получил весточку от князя Вяземского*... — Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) — поэт, мемуарист; один из основателей «Арзамаса» и "Литературной газеты". Пушкин дорожил дружбой с Вяземским, а также ценил ум и доброжелательство его жены Веры Федоровны (1790–1886).

С. 144. ...*самый простоватый и малоспособный из них, Мясоедов* — Павел Николаевич (1799–1868), впоследствии отставной поручик, чиновник канцелярии министерства юстиции, помещик Тульской губернии.

С. 145. ...*у синьоры Буниной*... — Анна Петровна Бунина (1774–1829) — поэтесса, переводчица; была избрана почетным членом "Беседы любителей русского слова" (1811).

С. 149. *Марает он единым духом // Лист*... — В этом эпитафье неточно цитируется стихотворение А. С. Пушкина "История стихотворца" (1818):

Внимает он привычным ухом  
Свист;  
Марает он единым духом  
Лист;  
Потом всему терзает свету  
Слух;  
Потом печатает — и в Лету  
Бух!

С. 149. ... *перечестъ идиллии Геснера*... — Саломон Геснер (1730–1788) — швейцарский поэт, автор популярных идиллий в прозе, которые Пушкин охарактеризовал как "чопорные и манерные".

*Но когда они приступили к «Мессиаде» Клопштока*... — Фридрих Готлиб Клопшток (1724–1803) — немецкий поэт, автор эпической поэмы "Мессиада".

С. 150. *Вот Яковлев, например...* — Михаил Лукьянович Яковлев (1798–1868) — лицеист первого выпуска, участник лицейских любительских спектаклей, музыкант, автор нескольких романсов на слова Пушкина (из них "Зимний вечер" исполняется и в наши дни). Впоследствии был начальником типографии, где печаталась пушкинская "История Пугачевского бунта" (1834). На квартире Яковлева 19 октября 1834 г. праздновалась очередная годовщина основания лицея.

С. 156. *...начитались... Шатобриана.* — Виконт Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) — французский писатель, автор книги о христианском подвижничестве "Гений христианства", поэмы в прозе «Мученики», повести "Атала, или Любовь двух дикарей" и др.

*Читали вы ..."Признания" Руссо?* — Имеется в виду «Исповедь» Жан-Жака Руссо (1712–1778), французского философа, композитора, автора знаменитых романов "Юлия, или Новая Элоиза", "Эмиль, или О воспитании" и др.

С. 157. *...как Марий на развалинах Карфагена...* — Гай Марий (ок. 157-86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. Карфаген был им захвачен и разрушен в 146 г. до н. э.

С. 158. *..."Книги Ведь"* (санскр. веда: букв. — знание) — памятники древнеиндийской литературы конца II — начала I тысячелетия до н. э. Ведь состоят из сборников гимнов и жертвенных формул (Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа) и трактатов (брахманы и упанишадь).

*Перед гробницею святой...* — Имеется в виду гробница М. И. Кутузова в Казанском соборе в Петербурге.

С. 159. *...друзей своих, Броглио и Ломоносова...* — Сильверий Францевич Броглио (1799–1825) — лицеист, геройски погибший (между 1822–1825 гг.) в Греции, сражаясь за ее независимость; перед этим участвовал в Пьемонтском восстании 1821 г. и был изгнан из Италии. Сергей Григорьевич Ломоносов (см. примеч. к с. 47).

*...Кайданов Иван Кузьмич (1782–1843)* — профессор истории в лицее, член-корреспондент Академии наук.

ОТРОЧЕСКІЕ ГОДЫ  
ПУШКИНА.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В. П. Авенариуса.

«Въ тѣ дни, когда въ садухъ лица  
И божественно расцвѣтавъ,  
Читалъ оковы Алуэра,  
А Цыцеровъ не читалъ,  
Въ тѣ дни, въ единственномъ домикѣ  
Востокъ, при измѣнѣ небосвода,  
Била вода, слышны въ тишинѣ,  
Являлся Муръ, съавъ мѣтѣ»

(Евг. Онегинъ.)

ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ.

Съ 8-ю рисунками и портретомъ Пушкина.

Въ первомъ и третьемъ изданіяхъ одобрено и рекомендовано Учебнымъ Комитетомъ, Мин. Народн. Просвѣд. для учебныхъ и физико-математическихъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ; Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ—къ приобретанію въ учебныя библиотеки духовныхъ семинарій, мужскихъ духовныхъ и женскихъ высшихъ учебныхъ заведеній; Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній—для родовыхъ библиотекъ кадетскихъ корпусовъ, и Учебнымъ Комит. вѣдомства Императрицы Маріи— для чтенія въ трехъ старшихъ классахъ и для подарковъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книжного магазина П. В. Луковникова.  
Делитуповъ переулокъ, д. № 2—80.

---

notes

## Note1

Родственник нашего знаменитого писателя И. С. Тургенева. — Здесь и далее примеч. автора.

## Note2

Волосы А. С. Пушкина стали темнеть только с 17-летнего возраста.

## Note3

Василий Львович разумел известного в то время писателя И. И. Дмитриева, который с 1810 по 1814 г. был и министром юстиции.

## Note4

\* \* \*

## Note5

\* Из послания В. Л. Пушкина к \* \* \*.



## Note6

А. С. Пушкин родился 26 мая (6 июня) 1799 г., в день Вознесения;  
барон Дельвиг — 6 августа 1798 г.

## Note7

Отец Беликов, автор известной книги "Дух Массильона".

## Note8

Мария Алексеевна Ганнибал, урожденная Пушкина, мать Надежды Осиповны, матери А. С. Пушкина.

## Note9

Личности няни и бабушки слились впоследствии в представлении Александра Сергеевича в один общий поэтический образ вдохновлявшей его Музы:

Наперсница волшебной старины,  
Друг вымыслов игривых и печальных,  
Тебя я звал во дни моей весны,  
Во дни утех и снов первоначальных.  
Я ждал тебя; в вечерней тишине  
Являлась ты веселою старушкой,  
И надо мной сидела в шушуне,  
В больших очках и с резвою гремушкой.  
Ты, детскую качая колыбель,  
Мой юный слух напевами пленила  
И меж пелен оставила свирель,  
Которую сама заворожила.

## Note10

Варвара Васильевна Чичерина — сестра родной бабушки Александра Сергеевича со стороны отца, Ольги Васильевны Пушкиной, урожденной Чичериной; Анна Львовна Пушкина — сестра Василия и Сергея Львовичей.

## **Note11**

Он родился 12 декабря 1777 года.

## Note12

Имя и отчество Державина.

## Note13

А. С. Пушкин всегда гордился своим прадедом Абрамом Ганнибалом и сыном его Иваном Абрамовичем, а когда впоследствии один из литературных врагов его, Фаддей Булгарин, позволил себе печатно поглумиться над его чернокожими предками, наш поэт отвечал ему следующими блестящими стихами:

Видок Фиглярин, сидя дома,  
Решил, что дед мой Ганнибал  
Был куплен за бутылку рома  
И в руки шкиперу попал.  
Сей шкипер был тот  
Шкипер славный,  
Кем наша двинулась земля,  
Кто придал мощно бег державный  
Корме родного корабля.  
Сей Шкипер деду был доступен;  
И сходно купленный арап  
Возрос усерден, неподкупен,  
Царю наперсник, а не раб.  
И был отец он Ганнибала,  
Пред кем, средь гибельных пучин,  
Громада кораблей вспылала  
И пал впервые Наварин.



## **Note14**

Для большей наглядности прилагается родословная Пушкиных и Ганнибалов начиная со второй половины XVII века (см. с. 106).

## Note15

Герой поэмы Евгений, обезумев от горя, что любимая им девушка погибла во время петербургского наводнения 1824 года, выходит ночью на Петровскую площадь:

...В темной вышине  
Над огражденною скалою  
Кумир с простертою рукою  
Сидел на бронзовом коне...  
Ужасен он в окрестной мгле!  
Какая дума на челе!  
Какая сила в нем сокрыта!  
А в сем коне какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?..  
...Безумец бедный обошел  
Кругом скалы с тоскою дикой  
И надпись яркую прочел,  
И сердце скорбию великой  
Стеснилось в нем...  
...Но вдруг стремглав  
Бежать пустился. Показалось  
Ему, что грозного царя,  
Мгновенно гневом возгоря,  
Лицо тихонько обращалось...  
И он по площади пустой  
Бежит и слышит за собой —  
Как будто грома грохотанье —  
Тяжело-звонкое скаканье  
По потрясенной мостовой.  
И, озарен луною бледной,  
Простерши руку в вышине,  
За ним несется Всадник Медный  
На звонко-скачущем коне;  
И во всю ночь безумец бедный,  
Куда стопы ни обращал,

За ним повсюду Всадник Медный  
С тяжелым топотом скакал.

## Note16

Дальний родственник нашего поэта, известный переводчик Мольера.

## Note17

Иван Петрович Архаров — известный московский богач и хлебосол, которого князь Вяземский в своей "Записной книжке" называет "последним бургграфом московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвою в 1812 году".

## Note18

Колен, который бежит (фр.).

## Note19

\* \* \*

## Note20

\* Сборник стихотворений А. П. Буниной вышел в 1809 году под заглавием: "Неопытная Муза".